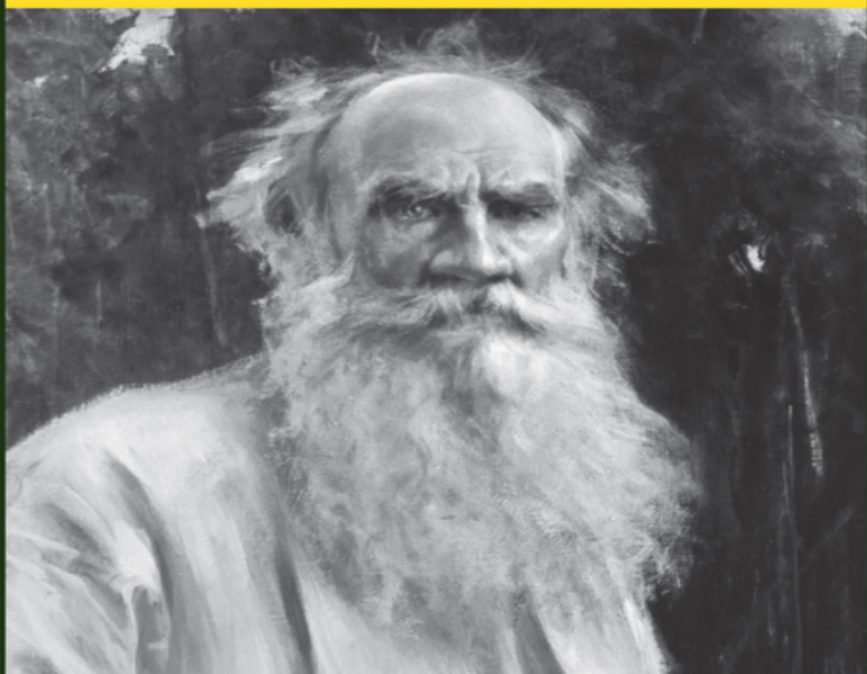




ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

ТОЛСТОЙ



Без любви
жить легче

Зачем же мы лжем
нашим женам, говоря,
что считаем их своими
настоящими друзьями?

Э К С К Л Ю З И В Н Ы Е М Е М У А Р Ы

SHOUT IT
SHARE IT



Annotation

«Без любви жить легче» – это воспоминания человека, который «убивал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал», но вечно стремился к благу и, оценивая прошлое, искренне раскаивался во всем содеянном. Приступая к изложению «трогательной и поучительной» истории своей жизни, Л. Н. Толстой писал: «Я думаю, что такая написанная мною биография будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений...» Перед вами исповедь горячего сердца, которое металось от безверия к отрицанию искусства, но вечно стремилось к внутренней правде: «Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография.»

- **Лев Николаевич Толстой**

- **Исповедь**

- **I**
 - **II**
 - **III**
 - **IV**
 - **V**
 - **VI**
 - **VII**
 - **VIII**
 - **IX**
 - **X**
 - **XI**
 - **XII**
 - **XIII**
 - **XIV**
 - **XV**
 - **XVI**

- **Воспоминания**

- **Введение**
 - **I**
 - **II**
 - **III**
 - **IV**
 - **V**

- VI
- VII
- VIII

○ Братья



■ IX

○ Фанфаронова гора

○ Брат Сережа

○ Переезд в Москву

○ О жизни (отрывок)

○ Правила (из дневников)



■ Правила для развития памяти

■ Правила для развития деятельности

■ Правила для развития умственных способностей

■ Правила для развития чувств высоких и уничтожения чувств низких, или иначе: правила для развития чувства любви и уничтожения чувства самолюбия

■ Правила для развития обдуманности

○ О женщинах

○ Диалог

○ Из дневников

○ О любви

○ Любите друг друга

• notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

- ☐ 19
- ☐ 20
- ☐ 21
- ☐ 22
- ☐ 23
- ☐ 24
- ☐ 25
- ☐ 26
- ☐ 27
- ☐ 28

Лев Николаевич Толстой
Без любви жить легче

Исповедь

Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко.

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное.

Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться, и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с

внешним, не связанным с жизнью, явлением.

По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа.

Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще все делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово это было указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.

Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет

веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди – самые коренные неверующие, потому что если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж наверно не вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное знание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в бога, или, скорее, я не отрицал бога, но какого бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало мою жизнь, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно – я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изоощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменялось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.

Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни – и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut»^[1]; еще другого счастья она желала мне – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любоддеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки

сделаться лучше. Взгляды эти под распушенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, – от чина художника, поэта, учителя – я не отрекся. Я наивно воображал, что я – поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу.

Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно – возникает именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать – как можно скорее, как можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, – мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекидывая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы все еще больше и больше учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевным рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы – очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: все, что существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается. Развивается же все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы – самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, – стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой

не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, – называл всех сумасшедшими, кроме себя.

Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, – говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «Куда держаться?» – если он, не отвечая на вопрос, скажет: «Нас несет куда-то».

Тогда я не замечал этого. Только изредка не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела и то и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания.

Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. «Все развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был формулировать свою веру.

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня

очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят.

В сущности же я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, если б у меня не было еще одной стороны жизни, не изведанной еще мною и обещающей мне спасение: это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об

увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше.

Так прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.

Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?

Сначала мне казалось, что это так – бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно и что, если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, – что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно.

Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые

вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенье. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкафами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение,

которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьмидесяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, производя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, – как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно...»

Но есть ли или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче – завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман! Вот именно, – что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто – жестоко и глупо.

Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и прыгнуть на дно колодца, чтобы не быть

пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, – а белая и черная мышь – день и ночь – подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного дракона и мышей, – и не могу отвести от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно – истина. Остальное все – ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже не сладки мне.

«Семья...» – говорил я себе; но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина – смерть.

«Искусство, поэзия?..» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это – дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все – и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидел, что и это – обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, –

отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить, – зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни – потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, – игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.

Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, – знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? – несколько раз говорил я себе. – Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, – искал, как ищет погибающий человек спасенья, – и ничего не нашел.

Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни, – есть единственное несомненное знание, доступное человеку.

Я искал везде, и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что, по связям своим с миром ученых, мне были доступны сами ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах, – я узнал все то, что на вопрос жизни отвечает знание.

Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робел перед знанием, и мне казалось, что несоответственность ответов моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества; но дело было для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни, и я волей-неволей был приведен к убеждению, что вопросы мои – одни законные вопросы, служащие основой всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука, если она имеет притязательность отвечать на эти вопросы.

Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?»

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл,

который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»

На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один – отрицательный, другой – положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни.

Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на свои независимо поставленные вопросы: это – ряд знаний опытных, и на крайней точке их стоит математика; другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на него: это – ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке – метафизика.

С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает знание.

То, в области опытной, я говорил себе: «Все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты – часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя». Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась, я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение и вопросов моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился – я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают, – и я увидел, что этот закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, – это значит ничего не сказать. Все это – слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни передела, ни зада, ни лучше, ни хуже.

Главное же то, что вопрос мой личный: что я такое с моими желаниями? – оставался уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересны, очень привлекательны, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их приложимости к вопросам жизни: чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они точнее и яснее, чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения на вопросы жизни, – к физиологии, психологии, биологии, социологии, – то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестанные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою. Если обратишься к отрасли знаний, не занимающихся разрешением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные, специальные вопросы, то восхищаешься силой человеческого ума, но знаешь вперед, что ответов на вопросы жизни нет. Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят: «На то, что ты такое и зачем ты живешь, мы не имеем ответов и этим не занимаемся; а вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отношение чисел и величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на все это у нас есть ясные, точные и несомненные ответы».

Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так: Вопрос: Зачем я живу? – Ответ: В бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь.

То, в области умозрительной, я говорил себе: «Все человечество живет и развивается на основании духовных начал, *идеалов*, руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я – часть человечества, и потому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества». И я во время слабоумия своего удовлетворялся этим; но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта теория мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовестной неточности, при которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества, за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных

сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества, – странность, чтобы не сказать – глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтоб ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку: «что я такое», или: «зачем я живу», или: «что мне делать», – человек должен прежде разрешить вопрос: «что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крошечная часть в один крошечный период времени». Для того чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое все это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя.

Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом. И я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунауки, пытающиеся давать ответы на не подлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на неподлежащие вопросы. Полунауки этой области – науки юридические, социальные, исторические – пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждая по-своему, разрешают вопрос жизни всего человечества.

Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по времени сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунауках опытных, и эти полунауки тем более исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторических, и получается чепуха.

Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои

исследования конечной причины. И, наоборот, умозрительная наука – тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы, – метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое я и весь мир? И зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачем она, он не знает и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю: зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет?.. И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она – истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: «что такое я и весь мир?» – «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир и зачем существую я?» – «не знаю».

Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ, – и не потому, что, как в области ясной, опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет, и вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.

В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек.

Вышел на поляну, влез на дерево и увидел ясно беспредельные пространства, но увидел, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидел мрак, и тоже нет и нет дома.

Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть.

Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос.

Ну, я знаю, – говорил я себе, – все то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе: Какой смысл моей жизни? – Никакого. – Или: Что выйдет из моей жизни? – Ничего. – Или: Зачем существует все то, что существует, и зачем я существую? – Затем, что существует.

Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал: о химическом составе звезд, о движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира; но ответ в этой области знаний на мой вопрос: в чем смысл моей жизни? – был один: ты – то, что ты называешь твоей жизнью, ты – временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоею жизнью. Сцепление это продержится некоторое время; потом взаимодействие этих частиц прекратится – и прекратится то, что ты называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты – случайно слепившийся

комочек чего-то. Комочек прееет. Прение это комочек называет своей жизнью. Комочек расскочится – и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам.

При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.

Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами.

Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же: мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого «всего». Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять так же неправильно вводятся понятия развития, совершенствования с тою только разницей, что там – развитие всего, а здесь – жизни людей. Неправильность одна и та же: развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает.

Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами, – там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ всегда один и тот же, – ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой.

«Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, – говорит Сократ, готовясь к смерти. – К чему мы, любящие истину, стремимся к жизни? К тому, чтоб освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам?»

«Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему».

«Познавши внутреннюю сущность мира как волю, – говорит Шопенгауэр, – и во всех явлениях, от бессознательного

стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с своими общими формами, пространством и временем, а наконец и последняя основная его форма – субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию (*Wille zum Leben*), составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так страшимся ничтожества, или, что то же, так хотим жить – означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отсеклась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и млечными путями, *есть ничто*».

«Суета сует, – говорит Соломон, – суета сует – все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род преходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все суета и томление духа... Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания – умножает скорбь.

Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя веселием и насладюсь добром; но и это – суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я в сердце своем улаждать

вином тело мое и, между тем как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни своей жизни. Я предпринял большие дела: построил себе дома, насадил себе виноградники. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревьев; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселия. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И оглянулся я, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого, – к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это – суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым! И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего...

Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не

знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

Так говорит Соломон или тот, кто писал эти слова.

А вот что говорит индийская мудрость.

Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и спрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние? И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье. Но в этот раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека, с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это – болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять; но в третий раз он видит еще новое зрелище; он видит, что несут что-то. «Что это?» – Мертвый человек. – «Что значит мертвый?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. «Что же будет с ним дальше?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. «Зачем?» – Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви. – «И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?» – Да. – «Назад! Я не еду гулять и никогда не поеду больше».

И Сакиа-Муни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь – величайшее зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская мудрость.

Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость

человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни.

«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его», – говорит Сократ.

«Жизнь есть то, чего не должно бы быть, – зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни», – говорит Шопенгауэр.

«Все в мире – и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе – все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо», – говорит Соломон.

«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя – надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни», – говорит Будда.

И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю и чувствую и я.

Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума, – напротив, оно подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества.

Обманывать себя нечего. Все – суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее.

Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.

И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.

Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда – большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли меду. Но они лижут эти капли меда только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попало много. Соломон выражает этот выход так:

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое... Наслаждайся жизнью с *женщиною*, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем... Все, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на

каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде, – неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче – завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидал их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шуток, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезда на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно – поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?.. Я находился в этом разряде.

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов, я не видал еще иного. Один выход: не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход – пользоваться жизнью такою, какая есть, не думая о будущем. И этого не мог сделать. Я, как Сакиа-Муни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог

радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход: поняв, что жизнь есть зло и глупость, прекратить, убить себя. Я понял это, но почему-то все еще не убивал себя. Четвертый выход – жить в положении Соломона, Шопенгауэра – знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении.

Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения.

Оно было такое: Я, мой разум – признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума (а его нет, и ничто доказать его не может), то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или, с другой стороны: если бы не было жизни, не было бы и моего разума, – стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть все. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно, – говорил я себе. – Но я жил, живу еще, и жило и живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить?

Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?

Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые люди, а жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни?

Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете – органическое и неорганическое – все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки – огромные массы простых людей – ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что жизнь их очень разумно устроена!

И мне приходило в голову: а что, как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит. Когда оно не знает чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл своей жизни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта жизнь бессмыслица, и не могу

жить.

Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя – и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди.

Ведь в самом деле, что же такое мы, убежденные в необходимости самоубийства и не решающиеся совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся с своею глупостью, как дурак с писаной торбой?

Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни. Все же человечество, делающее жизнь, миллионы – не сомневаются в смысле жизни.

В самом деле, с тех давних-давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мне и около меня, все это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, все это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они – бессмыслица! «Тут что-то не так, – говорил я себе. – Где-нибудь я ошибся». Но в чем была ошибка, я никак не мог найти.

Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть все человечество, что жизни человечества я еще не знаю.

Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет все человечество, а что те миллиарды живших и живых, это – *так*, какие-то скоты – не люди.

Как ни странно, ни невероятно непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружающую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, соломонов и шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал: «Да какой же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете?»

Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам – самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, – это повеситься, я чувствовал, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидел совершенно другое. Я увидел, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, «потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их складывается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.

Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это Бог, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.

Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.

Выходило противоречие, из которого было только два выхода: или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания.

Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот: зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучал жизнь.

Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.

Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого.

В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти.

Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тождество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: $a = a$, или $x = x$, или $0 = 0$. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, – только тождества.

И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта – и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил, – ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание

дало положительный ответ – ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тождество: $0 = 0$, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным.

Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? – ответ: по закону божью. Что выйдет настоящего из моей жизни? – Вечные мучения или вечное блаженство. Какой смысл, не уничтожаемый смертью? – Соединение с бесконечным богом, рай.

Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие того, возможность жить.

Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидел, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера.

Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидел одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.

Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, – смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит – в одной вере

можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, – вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.

И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнялось бы бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было ненужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума все прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что $0 = 0$, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос: зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.

Что такое я? – часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса – вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти?

Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понятно, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор, как люди есть, отысканы

отношения конечного к бесконечному и выражены.

Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.

Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.

Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, – разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, – это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем, с тем чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.

Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла – суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему.

Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа, – а я так люблю все разумное, – то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет $0 = 0$, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.

Я понимал это, но от этого мне было не легче.

Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.

Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни.

Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, – я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.

Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.

Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, – не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.

Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их

веры. Только действия, такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видал такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.

И я понял, что вера этих людей – не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы все человечество могло жить, для того чтобы оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с соломонами вынесли на своих волнах жизни.

И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимоверующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем ненужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, – они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны

жизнью, чем богатые. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это – добро. В противоположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противоположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть беспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, – многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я взгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противоположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.

И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства – все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его.

И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедовали люди, жившие противно этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими, – я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, – был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ: зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь – жизнь потворства похоти – была бессмысленна и зла, и потому ответ: «жизнь зла и бессмысленна» – относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы понять ее. Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как $2 \times 2 = 4$, но я не признавал ее, потому, что, признав $2 \times 2 = 4$, я бы должен был признать то, что я нехорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем $2 \times 2 = 4$. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало.

Что, если бы палач, проводящий жизнь в пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевающий на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее, – что, если бы они спросили себя: что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на вопрос: что такое жизнь, – другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло; и ответ сумасшедшего был бы

совершенно правилен, но для него только. Что, как я такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые люди, такие же сумасшедшие?

И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой сумасшедший. И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, – ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: низачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, тридцать лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло.

Жизнь мира совершается по чьей-то воле, – кто-то эту жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее – делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее – чего хотят от всех нас и от всего мира.

Если голого, голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то, очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам; тогда его выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина.

Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю,

люди простые, рабочие, неученые, те, которых мы считаем скотами; а мы вот, мудрецы, есть едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем: «Зачем это двигать палкой? Ведь это глупо». Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться.

Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться в правильности моей жизни; но спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понял, что, если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его.

В это же время со мною случилось следующее. Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием бога.

Я говорю, что это искание бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, – оно было даже прямо противоположно им, – но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь.

Несмотря на то что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя), я все-таки искал бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по старой привычке с мольбой к тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме доводы Канта и Шопенгауэра о невозможности доказательства бытия божия, то я начинал опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И эта причина всего есть то, что называют богом; и я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни. Но я спрашивал себя: «Что же такое эта причина, эта сила? Как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю богом?» И только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он – творец, промыслитель». Ответы эти не удовлетворяли меня, и я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, которого я искал, о том, чтоб он помог мне. И чем больше я молился, тем

очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет бога, я говорил: «Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня, бог мой!» Но никто не миловал меня, и я чувствовал, что жизнь моя останавливается.

Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять бог.

«Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», – говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования бога я переходил к отыскиванию отношения к нему, и опять мне представлялся тот бог, наш творец, в трех лицах, приславший сына-искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и сиять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И, что было хуже всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать.

Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения – то радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.

Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал бога.

«Хорошо, нет никакого бога, – говорил я себе, – нет такого, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь; нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное».

«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? – спросил я себя. – Понятие-то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие бога – не бог, – сказал я себе. – Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге

есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя.

Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос. – Так вот он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь.

«Живи, отыскивая бога, и тогда не будет жизни без бога». И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня.

И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая – та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, т. е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить.

Со мной случилось как будто вот что: я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые

течением. Были одинокие пловцы, продолжавшие грести; были пловцы, побросавшие весла; были большие лодки, огромные корабли, полные народом; одни бились с течением, другие отдавались ему. И чем дальше я плыл, тем больше, глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал данное мне направление. На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон с весельем и ликованием вокруг меня неслись на парусах и на веслах пловцы вниз по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. И я поверил им и поплыл с ними. И меня далеко отнесло, так далеко, что я услышал шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидел лодки, разбившиеся в них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о берегу, о веслах и направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.

Берег – это был бог, направление – это было предание, весла – это была данная мне свобода выгрестись к берегу – соединиться с богом. Итак, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить.

Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольничьего народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я. Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял все, ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не возбуждало во мне противления.

Отношение мое к вере теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне, неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения, и, убедившись, что они не имеют его, откинул их. Теперь же, напротив, я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни. Прежде я смотрел на них как на совершенно ненужную тарабарскую грамоту, теперь же, если я не понимал их, то знал, что в них смысл, и говорил себе, что надо учиться

понимать их.

Я делал следующее рассуждение. Я говорил себе: знание веры вытекает, как и все человечество с его разумом, из таинственного начала. Это начало есть бог, начало и тела человеческого, и его разума. Как преемственно от бога дошло до меня мое тело, так дошли до меня мой разум и мое постигновение жизни, и потому все те ступени развития этого постигновения жизни не могут быть ложны. Все то, во что истинно верят люди, должно быть истина; она может быть различно выражаема, но ложью она не может быть, и потому если она мне представляется ложью, то это значит только то, что я не понимаю ее. Кроме того, я говорил себе: сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вера могла отвечать на вопрос умирающего в роскоши царя, замученного работой старика раба, несмышленного ребенка, мудрого старца, полоумной старухи, молодой счастливой женщины, мятущегося страстями юноши, всех людей при самых разнообразных условиях жизни и образования, – естественно, если есть один ответ, отвечающий на вечный один вопрос жизни: «зачем я живу, что выйдет из моей жизни?» – то ответ этот, хотя единый по существу своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих проявлениях; и чем единее, чем истиннее, глубже этот ответ, тем, естественно, страннее и уродливее он должен являться в своих попытках выражения, сообразно образованию и положению каждого. Но рассуждения эти, оправдывающие для меня странность обрядовой стороны веры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я сам, в том единственном для меня деле жизни, в вере, позволил бы себе делать поступки, в которых бы я сомневался. Я желал всеми силами души быть в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры; но я не мог этого сделать. Я чувствовал, что я лгал бы перед собой, насмеялся бы над тем, что для меня свято, если бы я делал это. Но тут мне на помощь явились новые, наши русские богословские сочинения.

По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего исповедуемого церковью. Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что божеская истина не может быть доступна одному человеку, она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью. Для того чтобы постигнуть истину, надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и примиряться с тем, с чем не согласен.

Истина откроется любви, и потому, если ты не подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься возможности познать истину. Я не видал тогда софизма, находящегося в этом рассуждении. Я не видал тогда того, что единение в любви может дать величайшую любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в Никейском символе, не видал и того, что любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения. Я не видал тогда ошибки этого рассуждения и благодаря ему получил возможность принять и исполнять все обряды православной церкви, не понимая большую часть их. Я старался тогда всеми силами души избегать всяких рассуждений, противоречий и пытался объяснить, сколько возможно разумно, те положения церковные, с которыми я сталкивался.

Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело все человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа. Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего дурного (дурным я считал потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими предками и современниками, для того, чтобы, во имя искания смысла жизни, я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов. Как ни ничтожны были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал временные молитвы дома и в церкви. В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: «возлюбим друг друга да единомыслием...» Дальнейшие слова: «исповедуем отца и сына и святого духа» – я пропускал, потому что не мог понять их.

Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектения все яснее и яснее становилась для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое-как слова: «пресвятую владычицу нашу богородицу и всех святых помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу-богу предадим», – если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под ноги врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло, – молитвы эти и другие, как херувимская и все таинство проскомидии или «взбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к богу, теряя совершенно всякую возможность веры.

То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесенье, Пятидесятница, Богоявление, Покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокаивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видеть того, что соблазняет меня.

Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставляем в дилемму – или лгать, или отбросить.

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила – все это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни

открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.

Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что все в жизни ясно; я пришел ведь к вере потому, что, помимо веры, я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме гибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.

Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и все еще верил, что в том вероучении, которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным.

Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я все больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи-Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа-царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодезе, о монахе, нашедшем золото, о Петре-мытаре; там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви.

Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их

книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.

Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.

Так я жил года три, и первое время, когда я как оглашенный только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «Я виноват, я дурен». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.

Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью – противное самым основам той веры, которую я жил, – окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквам – к католицизму и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в обладании единой возможной истины. И я увидел, что всех, не исповедующих одинаково с нами веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидел, что ко всем, не исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, – православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое

жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.

Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и выдавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту и протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шекера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: да не может же быть, чтобы это было так просто, и все-таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какую должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение, – и я думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и читал все, что мог, по этому предмету, и советовался со всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что все, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне все, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал.

Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит этому обращению все наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым: почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. Нельзя ли, – говорил я, – выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по

тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к filioque и папе делайте, как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной власти – блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков.

И я все понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола всевышнего, – для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедовать свое учение. А если ложное учение проповедуется неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, т. е. по времени прилагали высшую меру наказания; в наше время прилагают тоже высшую меру – запирают в одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.

В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые

последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.

И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истина. Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И все то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, – я все-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании.

И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, – исследованию, которого я так боялся до сих пор.

И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда. На этом вероучении зиждется, или, по крайней мере, неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это – одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того чтобы понять его, даже и не то, что понять, как я понимаю положение науки. Я этого не ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно необъяснимому; я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.

Что в учении есть истина, это мне несомненно; но

несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.

* * *

Это было написано мною три года тому назад.

Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидел сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И, наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени – на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя то, чего мне прежде и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» – и я гляжу все дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню все, что было, и вспоминаю, как это все случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу все так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ошупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся.

Воспоминания

Введение

Друг мой П[авел] И[ванович] Б[ирюков], взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.

Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидел, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография.

В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении:

Воспоминание

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю.

Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:

«6 янв. 1903 г.

Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание, – сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: $x =$ положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастье – уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное».

Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, – таким был только один 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидел, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, – похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной,

честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.

И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды.

Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение.

Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, и, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.

Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern'a (его «Sentimental journey») и Töpfer'a («Bibliothèque de mon oncle»)[2].

В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, – мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное – полезнее другим людям.

Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было 1 1/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю – не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.

Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица – от отца до кучеров – представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одни их недостатки. Мать моя была нехороша собой и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, – которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, – четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, – и должна была быть чутка к художеству, она хорошо играла на фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет, – рассказывала мне ее горничная, – но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.

У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата – равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ.

В брате, про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем, – я хорошо знал это.

Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся с ним вместе, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно находя в этом большое удовольствие.

Ту же черту я замечаю в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца и его семьи, за исключением нешто Тат. Алекс. Ергольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина.

Кроме того, у обоих была еще другая черта, обуславливающая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей, – это то, что они никогда, именно никогда никого, – это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, – никогда никого не осуждали. Наиболее резкое выражение отрицательного отношения к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее.

В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало, – это коротенькое житие одного монаха, имевшего, заведомо всей братии, много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали: «Он никогда не осудил никого».

Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их.

Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная и т. д. – были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее.

Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: «Ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'être auprès de toi...»^[3] и т. п. Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаковое: «mon bon ami»^[4], и в одном из писем прямо говорит: «Le temps me paraît long sans toi, quoiqu'a1 dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta société quand tu es ici»^[5], и всегда подписывается одинаково: «ta dévouée Marie»^[6].

Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским.

Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его б...».

За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.

Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марью. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти около 1816 года.

Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слышал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства.

Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял в аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.

Странная судьба и самым странным образом свела его с той

самой Варенькой Энгельгардт, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Федоровича Голицына, получившего вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей, следовательно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына и что оба старые князья разменялись портретными галереями (разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в андреевской ленте и рыжей толстой Варварой Васильевной – кавалерственной дамой. Однако сближению этому не суждено было совершиться: жених моей матери, Лев Голицын, умер от горячки перед свадьбой, имя которого мне, 4-му сыну, дано в память этого Льва. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: *mon petit Benjamin*^[7].

Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным (до такой степени расстроенным, что отец, даже отказавшись от наследства) моим дедом Толстым состоянием. Думаю, что мать любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящие же ее любви, как я понимаю, были три или, может быть, четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с компаньонкой-француженкой *m-elle Hénissienne*, про которую я слышал от тетюшек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. *M-elle Hénissienne* эта вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Волхонского, деда теперешнего писателя Волхонского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой *m-elle Hénissienne*. Пишет она про свою дружбу по случаю дружбы двух девиц, живших у нее в доме: «*Je m'arrange très bien avec toutes les deux: je fais de la musique, je ris et je folâtre avec l'une et je parle sentiment, ou je médis du monde frivole avec l'autre, je suis aimée à la folie par toutes les deux, je suis la confidente de chacune, je les concilie, quand elles sont brouillées, car il n'y eut jamais d'amitié plus querelleuse et plus drôle à voir que la leur: ce sont des bouderies, des pleurs, des réconciliations, des injures, et puis des transports d'amitié exaltée et romanesque. Enfin j'y vois comme dans un miroir l'amitié qui a animé et troublé ma vie pendant quelques années. Je les regarde avec un sentiment*

indéfinissable, quelquefois j'envie leurs illusions, que je n'ai plus, mais dont je connais la douceur; disant le franchement, le bonheur solide et réel de l'âge mûr vaut-il les charmantes illusions de la jeunesse, ou tout est embelli par la toute puissance de l'imagination? Et quelquefois je souris de leur enfantillage»^[8].

Третье сильное, едва ли не самое страстное чувство было ее любовь к старшему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать все возможное для наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем, – это то, что он «задумывается» и вместо bonsoir^[9] или bonjour^[10] говорит бабушке: «Je vous remercie»^[11].

Четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь к Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки.

Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении.

Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне.

Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки-старушки, его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме дедушки и прожившей всю жизнь в доме моего отца; учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в «Детстве».

Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я – меньшей, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери, – кажется, не больше 9 лет, – была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с нею. Судя по письмам, я вижу, что жила она

тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких соседей Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещал Ясной Поляны. Жизнь матери проходила в занятиях с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как «Эмиль» Руссо, для себя и рассуждениях о читанном, в игре на фортепиано, в преподавании итальянского одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве. Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно, беззаботно, без напоминания о конце. Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы, дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери наложила свою печать на жизнь нашей семьи.

Все это я описываю по рассказам и письмам. Теперь же начинаю о том, что я пережил и помню.

Не буду говорить о смутных младенческих, неясных воспоминаниях, в которых не можешь еще отличить действительности от сновидений. Начну с того, что я ясно помню, с того места и тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец.

Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. Младший брат его Илья был ушиблен в детстве, стал горбатым и умер в детстве. В 12-ом году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время кн. Ник. Ив. Горчаков, близкий родственник моей бабушки кн. Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командовавшим чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему адъютантом. Он проделал походы 13–14 годов и в 14 году где-то в Германии, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж. Отец в 20 лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, стало быть, лет 16-ти, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.

После кампании отец, разочаровавшийся в военной службе – это видно по письмам, – вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой дед был губернатором. В Казани же была выдана сестра отца, Пелагея Ильинична, за Юшкова. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами.

Отец был среднего роста, хорошо сложенный, живой

сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами.

Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее добр и слаб. Так что и за его время я никогда не слышал о телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас. Мы, дети, с учителем возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера, кривого Кузьму, человека женатого и уже немолодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина, куда он идет, он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитывавшей нас и ненавидевшей телесное наказание, никогда не допускавшей его для нас, а также и для крепостных там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: «Как же вы не остановили его?» Ее слова еще больше огорчили меня. Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело уже было совершено.

Возвращаясь к тому, что я знал про отца и как представляю себе его жизнь. Занятие его составляло хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли отца часто уезжать из дома. Кроме того, уезжал он часто и для охоты – и для ружейной и для псовой. Главными товарищами его по охоте были его приятель, старый холостяк и богач Киреевский, Языков, Глебов, Исленьев. Отец разделял общее тогда свойство помещиков – пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята и лихие охотники. Дома отец, кроме занятия хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую, по тому времени, в французских классиках, исторических и естественноисторических сочинениях – Бюфон, Кювье. Тетушки говорили мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтет прежних. Но, хотя он и

много читал, трудно верить, чтобы он одолел все эти *Histoires des croisades et des papes*^[12], которые он приобретал в библиотеку. Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образования людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. В одном письме из Москвы к матери он пишет в своем шуточном тоне про Юшкова Осипа Ивановича, брата своего зятя: «Осип Иванович воображает, потому что шталмейстер. Но я ни крошечки не боюсь его. У меня есть свой шталмейстер». Он не только не служил нигде во времена Николая, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним.

Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: «К морю»: «Прощай, свободная стихия...» и «Наполеон»: «Чудесный жребий совершился: угас великий человек...» и т. д... Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сертук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в «Графе Нулине». Помню, как мы с ним ходили гулять и как увязавшиеся за нами

молодые борзые, разрезвившись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми на бок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как для охотничьего праздника, 1-го сентября, мы все выехали в линейке к отъемному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли ее и где-то – мы не видели – борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывели соструненного, большого, с связанными ногами, серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться и злобно грыз струнку. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: «Пущай». Вилы подняли, волк поднялся, постоял секунд десять. Но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушел. Помню, отец что-то выговаривал и сердито махал рукой, возвращаясь домой.

Самые же приятные мои воспоминания о нем – это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладыванья пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен. Сидит, бывало, бабушка, с своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом, на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки. Рядом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Петровна в своей куртушке с патронами и прядет и стучает клубком изредка об стену, где она уже сделала клубком выемку. Петровна эта – торговка, почему-то полюбилась бабушке, и она гостит часто у нас и всегда сидит рядом с бабушкой в гостиной на диване. На креслах сидят тетушки, и одна из них читает вслух. На одном из кресел, продавив в нем себе ямку, лежит черно-пегая хортая Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными черными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушкой и тетушками, целуясь рука в руку. Помню, раз в середине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то.

Мы все смотрим туда же.

Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смеется на его на цыпочках осторожно шагающую фигуру. Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает – радостно улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с

особенной нежностью целую его белую жилистую руку.

Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер.

Но об этом после. Теперь о следующих членах нашей семьи, среди которых прошло мое детство.

Бабушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Ник. Иван. Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие об ее характере, она была недалекая, малообразованная – она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная – сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном – женщиной. Кроме того, как дочь старшего в роде, она пользовалась большим уважением всех Горчаковых: бывшего военного министра Николая Ивановича и Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Дмитрия Петровича – Петра, Сергея и Михаила Севастопольского. Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное – доверчивый. В имении его Белевского уезда, Полянах, – не Ясной Поляне, но Полянах, – шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и займы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам, – кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взятки, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему, но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения. В Казани бабушка выдала меньшую дочь Пелагею за Юшкова, старшая, Александра, еще в Петербурге была выдана за графа Сакена. После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее.

Отца бабушка страстно любила и нас, внуков, забавляясь нами, любила тетушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей, но с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: «вы, моя милая» и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой капризничать бабушки и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна,

была так же капризна, как бабушка с нею.

Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с нею, впечатлениям. Первое – это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней, – вероятно, наше удивление и восхищение перед ее мыльными пузырями забавляло ее, – чтобы видеть, как она умывалась. Помню: белая кофточка, юбка, белые старческие руки, и огромные, поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание – это было то, как ее без лошади на руках вывели камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чаще частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздьями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались не замеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их и кусты, медленно цепляясь, расправлялись.

Помню, как жарко было на полянках, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа, как щелкали со всех сторон разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи, и как мы, не переставая, жевали свежие, полные, белые ядра. Мы собирали в карманы и подолы и несли в кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню, помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце – соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что, как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, которую везут Петруша и Матюша.

Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминание – это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я узнал его), остаток старинного барства, барства деда.

Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза

два прочитывали ему.

Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович с своими белыми глазами, в синем длинном сертуке с буфами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника слышался ровный, спокойный голос Льва Степаныча: «Продолжать прикажете?» – «Да, продолжайте». – «Любезная сестрица, сказала она, – заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным, старческим голосом, – расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». – «Охотно, – отвечала Шехерезада, – рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехерезада начала так: «У одного владетельного царя был единственный сын...»

И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч говорить историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучащие среди полутемноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампы.

Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка. Расскажу после о моих дальнейших впечатлениях о бабушке во время переезда в Москву и жизни там, теперь же расскажу, что знаю и помню о другом важном для моего детства лице – жившей у нас родной тетке моей, Александре Ильиничне графине Остен-Сакен.

Тетушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остен-Сакена. Партия, казалась, очень блестящая, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя, может быть, последствия этого брака были благотворны для ее души. Тетушка Aline, как ее звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна, с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какою она 16-летней девушкой изображена на очень хорошем портрете.

Скоро после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в свое большое остзейское имение, и там все больше и больше стала проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которых ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружают его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел складывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась.

Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что, если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибнут, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погони, и гнал кучера. На беду на проселочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж, и он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, и сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетке скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди навывлет (тетушка показывала мне оставшийся след) и была не тяжелая. В то время как она, выздоравливая, все еще беременная, лежала у пастора, муж ее,

опомнившийся, приезжал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она нечаянно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно; он, хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь об ее здоровье, он попросил ее показать ему язык, и когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба, она вырвалась от него, закричала, вбежали люди, остановили и увели его.

С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тетушкой. Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там она родила уже мертвого ребенка. Боясь последствий огорчения от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяла родившуюся в то же время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку. Эта девочка – Пашенька, которая жила у нас и была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история ее рождения, но, когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки.

Тетушка Александра Ильинична после случившегося с нею жила у своих родителей, потом у моего отца и потом после смерти отца была нашей опекуницей, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыни.

Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Марья Герасимовна была потому, что мать обещала ей взять ее кумой, если она вымолит у бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в тульском женском монастыре, частью у нас в доме.

Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдал посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью,

стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.

Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к ней, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю обычно делалось горничной. В пище, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах.

Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами.

Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как она добродушно смеялась, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она будто вместе с своей кузиной Молчановой ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение. Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Aline захватила его. Помню ее милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуншей, но все, что она делала, не поглощало ее души, все было подчинено служению богу, как она понимала это служение.

Третье и самое важное [лицо] в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушке. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили, девочек же решили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка. Свернули билетики, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизанька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая – бабушке. Таненька, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году, воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же. «Я сделаю», – сказала она. «Не сделаешь», – сказал Языков, мой крестный отец, и, что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке», – сказал он. Она вытянула белую руку, – тогда девочки ходили всегда декольте, – и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.

Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательная с своей жесткой черной курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «*Toinette, oh, elle était charmante*»^[13]. Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой. Должно быть, она

любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка:

«16 Août 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une étrange proposition – celle de l'épouser, de servir de meîre a1 ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refusé la premie1re proposition, j'ai promis de remplir l'autre – tant que je vivrai»^[14].

Так она записала, но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание. У нас были две родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее, она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней.

Она была воспитана барышней богатого дома – говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрагивалась до фортепьяно. Она стала играть только уже, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные – крепостные и обращалась с ними, как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе – любовь к одному человеку – к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь. Она имела по своей любви к нам наибольшие права на нас, но родные тетки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь ее от этого

не ослабевала. Она жила у сестры, гр. Л. А. Толстой, но жила душой с нами и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умеем ценить наше счастье, тем более что истинное счастье всегда негромко, незаметно. Я ценил, но далеко не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинках держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики, и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти лакомства и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.

Уже когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: «Вот что, *mes chers amis*^[15], комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, – сказала она дрожащим голосом, – вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь». Такая она была вся с самых первых времен моего детства, когда еще я не мог понимать ее.

Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни. Хотя это воспоминание уже не детства, а взрослой жизни, я не могу не вспомнить моей холостой жизни с ней в Ясной Поляне, в особенности осенними и зимними длинными вечерами. И эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием.

Комната ее была такая: в левом углу была шифоньерка с бесчисленными вещицами, ценными только для нее, в правом – кивот с иконами и большим, в серебряной ризе, спасителем, посередине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к ее горничной и другой диван, на котором спала добродушная старушка Наталья Петровна, жившая с ней, не для нее, а потому, что ей негде было жить. Между окном под зеркалом был ее письменный столик с баночками и вазочками, в которых были сладости: пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел, и я часто сидел на

этом кресле по вечерам.

Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой матерьяльной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно, добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в неосознавании убегающего времени. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на этом кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь ее разговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой, горничной, всегда добрые, ласковые, перекинешься с ней словом и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло стоит и теперь у меня, но оно уж не то.

Тогда можно было сказать: «Wer darauf sitzt, der ist glücklich, und der glückliche bin ich»^[16]. И действительно, я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней, по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я – ее милую, энергическую, она – мою грязную, порочную руку, поздороваешься тоже по старой привычке по-французски, пошутить с Натальей Петровной и сядешь на покойное кресло. Она знает все, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же ровной лаской, с любовью. Сажу на кресле, читаю, думаю, прислушиваюсь к разговору ее с Натальей Петровной. То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чем-нибудь, и обе старушки смеются, особенно тетенька, детским, милым смехом, который я сейчас слышу. Рассказываю я про то, что жена знакомого изменила мужу, и говорю, что муж, должно быть, рад, что освободился от нее. И вдруг тетенька, сейчас только говорившая с Натальей Петровной о том, что нарост на свече означает гостя, поднимает брови и говорит, как дело, давно решенное в ее душе, что муж не должен этого делать, потому что погубит совсем жену. Потом она рассказывает мне про драму на дворе, про которую рассказывала ей Дунечка, потом перечитывает письмо от сестры Машеньки, которую она любит если не больше, то так же, как меня, и говорит про ее мужа, своего родного племянника, не осуждая, а грустя о том горе, которое он сделал Машеньке. Потом я опять читаю, она перебирает свои вещицы – всё воспоминания. Главные два свойства ее жизни, которые невольно заражали меня, была, во-первых, ее удивительная всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая,

когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, упрек, осудила бы, и не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Она говорила добро про другую тетюшку, родную, которая жестоко огорчила ее, отняв нас у нее, не осуждая и мужа сестры, очень дурно поступавшего с ней. Про прислугу и говорить нечего. Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям. Никогда она не выговаривала мне прямо за мою дурную жизнь, хотя страдала за меня. Брата Сергея, которого она тоже горячо любила, она также не упрекала и тогда, когда он сошелся с цыганкой. Единственный оттенок беспокойства о нем было то, что, когда он долго не приезжал, она говаривала: «Что-то наш Сергеус?»

Только вместо Сережи – Сергеус. Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравучений, вся нравственная работа была переработана в ней внутри, а наружу выходили только ее дела – и не дела – дел не было, а вся ее жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любящейся на себя, а тихой, незаметной любовью.

Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства – любовьность и неторопливость – незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости. От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я и не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, но отвергала только один догмат – вечных мучений: «Dieu qui est la bonté même ne peut pas vouloir nos souffrances»^[17].

Я, кроме как на молебнах и панафидах, никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощанья на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву.

«Заходи, заходи, – скажет она, бывало. – А я только что говорю Наталье Петровне, что Nicolas зайдет еще к нам». Она часто называла меня именем отца, и это мне было особенно приятно, потому что показывало, что представление о мне и отце соединялось в ее любви к обоим. По этим поздним вечерам она бывала уже раздета, в ночной рубашке, с накинутым платком, с цыплячьими ножками в туфлях, и в таком же неглиже Наталья Петровна. «Садись, садись, пасьянс сделаем», – говорила она, видя, что мне не хочется спать или тяжело одиночество. И эти незаконные, поздние сиденья мне особенно мило памятливы.

Бывало, скажет что-нибудь смешное Наталья Петровна или я, и она добродушно рассмеется, и тотчас же рассмеется и Наталья Петровна, и обе старушки долго смеются, сами не зная чему, а как дети, только потому, что они всех любят и их все любят и им хорошо.

Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была та атмосфера любви ко всем присутствующим, отсутствующим, живым и умершим людям и даже животным.

Я еще буду, если придется рассказать мою жизнь, много говорить про нее. Теперь скажу только про отношение народа, яснополянских крестьян к ней, выразившееся во время ее похорон. Когда мы несли ее по деревне, не было одного двора из 60, из которого не выходили бы люди и требовали остановки и панихиды. «Добрая была барыня, никому зла не сделала», – говорили все. И ее любили и сильно любили за это. Лаодзе говорит, что вещи ценны тем, чего в них нет. Также и жизнь: главная цена ее в том, чтобы не было в ней дурного. И в жизни тетеньки Татьяны Александровны не было дурного. Это легко сказать, но трудно сделать. И я знал только одного такого человека.

Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же узнавала всегда, улыбалась, просиявала, как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести *Nicolas*, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь.

И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад, и не столько для себя, а чтобы угощать меня же, и возможность дать от себя немножко денег тем, кто просил ее. Этого не могу вспомнить без мучительного упора совести. Милая, милая тетенька, простите меня. *Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait*^[18] не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет.

Немца нашего учителя Фед. Ив. Ресселя я описал, как умел подробно, в «Детстве» под именем Карла Ивановича. И его история, и его фигуры, и его наивные счеты – все это действительно так было. Про братьев и сестру я расскажу, если удастся, описывая мое детство. Но, кроме братьев и сестры, с 5-летнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Темешова, и мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве: мужа тетки, Юшкова, странного для детей вида, с черными усами, бакенбардами и в очках (о нем придется много говорить), и моего крестного отца С. И. Языкова, замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передергивал в самые странные, беспрестанные гримасы, кроме этих двух и соседей, Огарева и Исленьева, посещал нас еще дальний родственник по Горчаковым, богач-холостяк Темешов, называвший отца братцем и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной Поляны, в селе Пирогове, и привез раз оттуда поросят с закорюченными колечками хвостиками, которых на большом подносе раскладывали на столе в официантской. Темешов, Пирогово и поросята соединялись у меня в воображении в одно.

Кроме того, Темешов был нам, детям, памятен еще тем, что он играл в зале на фортепиано какой-то плясовой мотив (он только это и умел играть) и заставлял нас плясать под эту музыку. Когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцевать, он говорил, что можно все танцы танцевать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим.

Был зимний вечер, чай отпили, и нас скоро уже должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась о пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях, – это был Темешов. Что сказал Темешов отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что он упал на колени перед отцом потому, что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде сговорился с отцом с тем, чтобы отец принял ее на воспитание с своими детьми. С тех пор у нас появилась с широким, покрытым веснушками лицом девочка,

моя ровесница, Дунечка, с своей няней Евпраксеей, высокой, сморщенной старухой, с висячим подбородком, как у индейских петухов, кадычком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать.

Появление в нашем доме Дунечки связывалось с сложной имущественной сделкой между отцом и Темешовым. Сделка эта была вот такая.

Темешов был очень богат, законных детей у него не было. А было только две дочери: Дунечка и Верочка, горбатая девочка, от бывшей крепостной его, отпущенной на волю девушки Марфуши. Наследницами Темешова были его сестры. Он предоставлял им все остальные свои имения, а Пирогово, в котором он жил, он желал передать отцу с тем, чтобы ценность имения, 300 тысяч (про Пирогово всегда говорили, что это было золотое дно, и оно стоило гораздо больше), отец передал двум девочкам. Для того, чтобы устроить это дело, было придумано следующее: Темешов делал запродажную запись, по которой он продавал отцу Пирогово за 300 тысяч, отец же давал векселя трем посторонним лицам – Исленьеву, Языкову и Глебову по сто тысяч каждый. В случае смерти Темешова отец получал имение и, объяснив Глебову, Исленьеву и Языкову, с какой целью даны были на их имя векселя, выплачивал 300 тысяч, которые должны были идти двум девочкам.

Может быть, я ошибаюсь в описании всего плана, но знаю я несомненно то, что имение Пирогово перешло к нам после смерти отца и что были три векселя на имена Исленьева, Глебова и Языкова, что опека выплатила эти векселя и первые два передали по 100 тысяч девочкам, Языков же присвоил себе эти не принадлежавшие ему деньги. Но об этом после.

Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по 5 лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда на наш рев пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез. Другое помню о ней то, что, когда оказалась похищенной одна слива с тарелки и не могли найти виновного, Федор Иванович с серьезным видом, не глядя на нас, сказал: что съел – это ничего, а если косточку проглотил, то может умереть.

Дунечка не вытерпела этого страха и сказала, что косточку она выплюнула. Еще помню ее отчаянные слезы, когда они с братом Митенькой затеяли игру, состоящую в том, чтобы плевать друг другу в рот маленькую медную цепочку, и она так сильно

плюнула, а Митенька так широко раскрыл рот, что проглотил цепочку. Она плакала безутешно, пока не приехал доктор и не успокоил всех.

Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких других, кроме братских отношений.

Чем дальше я подвигаюсь в своих воспоминаниях, тем нерешительнее я становлюсь о том, как писать их. Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу, потому что я не помню этой связи и последовательности душевных состояний. Описывая же, как я делал до сих пор, отдельные лица, среди которых проходило мое детство, я не знаю, где остановиться в описании судьбы этих лиц: остановиться там, где кончается мое детство, не хочется, потому что, может быть, не придется уже вернуться к этим лицам, а лица эти интересны, продолжать же описание жизни этих лиц дальше моего детства, будет неясно для читателя, потеряна связь рассказа.

Буду продолжать, как придется. Едва ли успею написать всю свою жизнь, даже наверно не успею, и потому буду писать, как придется, без поправок. Все лучше, чем ничего, для тех, которым может быть интересна моя жизнь, и для меня, переживающего и испытывающего много хорошего в этом переживании.

Итак, продолжаю, как хотел: описывая сначала тех ближайших людей прислуги, которые оставили во мне всю добрую память, а потом сестру и братьев. Когда кончу эти описания, поведу уже рассказ по времени, хотя и несвязно, урывками, о том, что помню из сильнейших своих впечатлений, что прежде, что после. Итак, о прислуге: 1) Прасковья Исаевна, 2) няня Татьяна Филипповна, 3) Анна Ивановна, 4) Евпраксея. Мужчины: 1) Николай Дмитрич, 2) Фока Демидыч, 3) Аким, 4) Тарас, 5) Петр Семеныч [?], 6) Пимен, 7) камердинеры: Володя, 8) Петруша, 9) Матюша, 10) Василий Трубецкой, 11) кучер Николай Филипыч, 12) Тихон.

Прасковью Исаевну я довольно верно описал в «Детстве». Все, что я об ней писал, было действительно. Не знаю, почему это так было устроено – дом был большой, 42 комнаты. Прасковья Исаевна была почтенная особа – экономка, а между тем у нее, в ее маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в ее комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенной счастливой и умиленной откровенности. «Прасковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом?» – кряхтя спросишь ее, чтобы только поговорить и послушать.

– Он всячески воевал, и на коне и пеший. Зато генерал-аншеф был, – ответит она и, открывая шкаф, достает смолку, которую она называла очаковским куреньем. По ее словам выходило, что

эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку об лампадку у икон и зажжет смолку, и она дымит приятным запахом.

Кроме той обиды, которую она мне нанесла, побив меня мокрой скатертью, как я описал это в «Детстве», она еще другой раз обидела меня. В числе ее обязанностей было еще и то, чтобы, когда это нужно было, ставить нам клистиры. Раз утром, уже не в женской половине, а внизу, на половине Федора Ивановича, мы только что встали и старшие братья уже оделись, а я замешкался и только что собирался снимать свой халатик и одеваться, как быстрыми старушечьими шагами вошла Прасковья Исаевна с своими инструментами. Инструменты состояли из трубки, завернутой почему-то в салфетку так, что только желтоватая костяная трубочка виднелась из нее, и из блюдечка с деревянным маслом, в которое обмакивалась костяная трубочка. Увидев меня, Прасковья Исаевна решила, что тот, над кем тетенька велела сделать операцию, был я. В сущности, это был Митенька, но случайно или из хитрости, зная, что ему угрожает операция, которую мы все очень не любили, он поспешно оделся и ушел из спальни. И, несмотря на мои клятвенные уверения, что не мне назначена операция, она исполнила ее надо мной.

Кроме той преданности и честности ее, я особенно любил ее потому, что она с Анной Ивановной казалась мне представительницей таинственной старины жизни дедушки с Очаковым и курением.

Анна Ивановна жила на покое, и раза два она была в доме, и я видел ее. Ей, говорили, что было 100 лет, и она помнила Пугачева. У ней были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям.

Няня Татьяна Филипповна, маленькая, смуглая, с пухлыми маленькими руками, была молодая няня, помощница старой няни Аннушки, которую я почти не помню именно потому, что я сознавал себя не иначе, как с Аннушкой. И как я себя не смотрел и не помню себя, какой я был, так не помню и Аннушку. Так, вновь прибывшую няню Дунечки, Евпраксею, с ее шариком на шее, я помню прекрасно. Помню, как мы чередовались щупать ее шарик, как я, как нечто новое, понял то, что няня Аннушка не есть всеобщая принадлежность людей. А что вот у Дунечки совсем особенная своя няня из Пирогова.

Няню Татьяну Филипповну я помню потому, что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них и для своих семейных представляют только

возможность выпрашивания и наследования нажитых денег. Всегда у них моты братья, мужья, сыновья. И такие же были, сколько помню, муж и сын и Татьяны Филипповны. Помню, она тяжело, тихо и кротко умирала в нашем доме на том самом месте, на котором я теперь сижу и пишу эти воспоминания.

Брат ее, Николай Филиппович, был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большей частью господские дети, питали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом, и голос у него был ласковый и звучный.

Обрываю начатое описание слуг по порядку. Это показалось мне скучно и не выходит. Буду описывать свою жизнь, вспоминая, сколько могу, назад.

Да, но прежде скажу хоть несколько слов о камердинерах и Тихоне.

В старину у всех бар, особенно у охотников, были любимцы. Такие были у моего отца два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, сильные, ловкие охотники. Оба они были отпущены на волю и получили всякого рода преимущества и подарки от отца. Когда отец мой скоропостижно умер, было подозрение, что эти люди отравили его. Повод к этому подозрению подало то, что у отца были похищены все бывшие с ним деньги и бумаги, и бумаги только – векселя и другие – были подкинута в московский дом через нищую. Не думаю, чтобы это была правда, но было возможно и это. Бывали часто такие случаи, именно то, что крепостные, особенно возвышенные своими господами, вместо рабства вдруг получавшие огромную власть, ошалевали и убивали своих благодетелей. Трудно представить себе весь тот переход от полного рабства не только к свободе, но к огромной власти. Не знаю уж, как и отчего, но знаю, что это бывало, и что Петруша и Матюша были именно такие ошалевшие люди, не могущие удовлетвориться тем, что получили, а естественно хотевшие подниматься все выше и выше. Я этого, разумеется, не понимал, и мне они просто нравились – особенно Петруша, своей ловкостью, силой, мужественной красотой, чистотой одежды и ласковостью к нам, детям, и ко мне особенно. Я всегда просто любовался ими, видел в них особенных людей. Большое уважение к ним вызывали во мне те фарфоровые и деревянные крашенные куколки людей, собак, кошек, обезьян, которые стояли у них на окнах, в комнатах нижнего этажа, в которых они жили. Проходя мимо них, мы всегда с уважением смотрели на этих кукол. Это казалось мне чем-то особенным и важным. Оба они были холостые, и оба были нелюбимы дворней.

Тихон-официант, тот, который таскал табак и которого мы

очень любили, был человек совсем другого склада. Это был маленький, узенький человечек, весь бритый, с длинным, как это часто бывает у актеров-комиков, промежуток между носом и твердо сложенным ртом и подвижным лбом и бровями над веселыми, серыми глазками. Он был у дедушки в оркестре флейтистом. Его обязанности в доме состояли в уборке парадных комнат и в служении за столом. Он был природный актер. Ему, очевидно, самому доставляло удовольствие представлять что попало и делать комические гримасы, которые приводили нас, детей, в восхищение. Все всегда над ним смеялись. И про него ходили между дворней рассказы о том, как он в походе на деревне попал в пехтерь. По утрам он в чулках и куртке с венчиком из прудового тростника убирал комнаты, днем сидел в передней и вязал чулки.

(Сюда следуют мои первые воспоминания, напечатанные в 12 томе 10-го изд., стр. 447.)

Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Вступая в жизнь, мы в детстве чувствуем, сознаем всю ее удивительную таинственность, знаем, что жизнь не только то, что дают нам наши чувства, а потом стирается это истинное предчувствие или послечувствие всей глубины жизни. Да, удивительное было время. Вот мы кончили уроки, кончили прогулку и приведены в гостиную, чтобы идти к обеду. Гостиная – диван, большой, круглый, красного дерева стол, под прямым углом к столу по четыре кресла. Напротив дивана балко[нная] дверь и в простенках между ней и высокими окнами два зеркала в резных золоченых рамах. Бабушка сидит на левой стороне дивана с [1 неразобр.] и золотой табакеркой в чепце с рюшей. Тетушки Александра Ильинишна, Татьяна Александровна, Пашенька, Маш[енька], дочь с своей крестной матерью Марьей Герасимовной (про которую сейчас расскажу), Федор Иваныч, все собрались, ждут папеньку из кабинета. Вот он выходит бодрым быстрым шагом, с своей сангвинической красной шеей, мягких без каблуков сапог, добрыми красивыми глазами и грациозно мужественными движениями. Иногда он выходит с трубкой в руке, отдает ее лакею. Он выходит и подсаживается к бабушке, целует ее руку и что-нибудь шутя с нами, тетушками или Федором Иванычем.

– Что ж не дают обедать? – крикнет он своим бодрым и ласковым голосом. Из официантской выходит кто-нибудь из его камердинеров-охотников: Володя, Матюша, Петруша (про них тоже надо рассказать).

– Сейчас подадут.

И действительно, в огромно высокую дверь (темно-красную, подмалеванную, двери такие и остались) входит в синем сюртуке с высокими со сборками плечами дворецкий, бывшая вторая скрипка в оркестре дедушки, Фока Демидыч, с своими сходящимися поднятыми бровями и с очевидной гордостью и торжественностью объявляет:

– Кушанье поставлено.

Все поднимаются, отец подает руку бабушке, за ними следуют тетушки, Пашенька, мы с Федором Ивановичем и кто-нибудь из живущих и Марья Герасимовна. Я подхожу (я помню это, как всегда помнится почему-то ярко один момент) с левой стороны к отцу, рука его касается моих волос, шеи, я люблю эту белую руку с красной характерной полосой на внешней выступающей части ладони и держу, и не смею, и, наконец, целую; рука пожимает мне щеку, и я умиленно счастлив. Проходим официантскую площадку перед лестницей и входим в большую залу. Почти за каждым стулом стоят лакеи с тарелками, которые они держат в левой руке у левой стороны груди. Если есть гости, то их лакеи всегда стоят за их стульями и служат им. На столе, покрытом работы своих ткачей грубоватой скатертью, графины с водой, кружки с квасом, ложки серебряные старые, ножи и вилки железные с деревянными ручками, стаканы самые простые, тонкие. Суп разливают в буфете, лакеи разносят к супу пирожки. Но нам не дают почему-то пирожков, и камердинер Петруша, особенно расположенный ко мне, потихоньку подсовывает мне пирожок. Как удивительно вкусен этот пирожок! За обедом, впрочем, все удовольствие, все радостно, все вкусно, все весело. Трудно только сидеть неподвижно, и если не позволяется шевелить верхней частью тела, то замещаешь это тем, что болтаешь усиленно под столом недостающими до полу толстыми ножонками в белых нитяных чулках, сделанными своим глухим Алексеем-сапожником башмаками. Все вкусно, кроме иногда застрявшего во рту куса жилистой говядины, который мнешь, мнешь и, пока большие заняты разговорами, выплунешь в маленькую ладонь и бросишь под стол. Вкусна каша, вкусен картофель печеный, репа, вкусны куры с огурцами и, главное, вкусно пирожное, всякое пирожное, оладьи, молочная лапша, хворостики, творог со сметаной. Весело слушать иногда разговоры старших, когда понимаешь их, и переговариваться с братьями о наших, одним нам интересных, предметах, и особенно весело смотреть на Тихона. Тихон – это бывшая флейта в оркестре дедушки, маленький веселый человечек с удивительным, как нам казалось, талантом комизма. Он стоит, бывало, за бабушкой или

за отцом, вдруг, вытянув свои длинные бритые губы, взмахнет тарелкой и сделает комическую выкрутасу. Мы засмеемся. Кто-нибудь из больших оглянется, и Тихон стоит, как статуя, замерев в неподвижной позе с тарелкой у груди. Бывает за обедом и еще удовольствие, когда на меня обращают внимание и выставляют перед публикой мое искусство составлять шарады.

– Ну-ка, Левка-пузырь (меня так звали, я был очень толстый ребенок), отличись новой шарадой! – говорит отец.

И я отличаюсь шарадой в таком роде: мое первое – буква, второе – птица, а все – маленький домик. Это б – утка – будка. Пока я говорю, на меня смотрят и улыбаются, и я знаю, чувствую, что эти улыбки не значат то, что есть что-нибудь смешного во мне или моих речах, а значит то, что смотрящие на меня любят меня. Я чувствую это, и мне восторженно радостно на душе.

Обед кончается. Отцу подают закуренную трубку, он идет к себе, бабушка в гостиную, мы вниз, и начинается рисование. Иногда приходит отец, говорит с Федором Ивановичем по-немецки, удивляя нас своим выговором. Он говорит правильно: Sie – зи, ganz – ганц, а мы по-саксонски, как Федор Иванович – си и янц, и с недоверием слушаем выговор отца. Он иногда рисует нам. Потом идем прощаться с бабушкой, тетушками, Николай Дмитрич, наш дядька, собирает паше платье, перевешивает на руку и желает нам покойной ночи и приятного сна. Иногда мы не спим и переговариваемся до тех пор, пока входит в темноте Федор Иванович, высекает огонь, зажигает серничек синим огнем, потом свечку, ложится на свою постель с высокими подушками, тушит свечку, и я засыпаю.

Братья

Начну с младших. Митенька одним годом старше меня.

Нет еще. Не могу перейти к братьям. Надо упомянуть о буфетчике Василье Трубецком. Это был милый, ласковый человек, очевидно любивший детей и потому любивший нас, особенно Сережу, того самого, у которого он потом и служил и помер. Помню добрую кривую улыбку его бритого лица, которое с морщинами и шеей было близко видно, и тоже особенный запах, когда он брал нас на руки и сажал на поднос (это было одним из больших удовольствий: «И меня! теперь меня!») и носил по буфету, таинственному для нас месту, с каким-то подземным ходом. Одно из сильных воспоминаний, связанных с ним, был его отъезд в Щербачевку, курское имение, полученное отцом в наследство от Перовской. Это было (отъезд Василия Трубецкого) на святках, в то время, как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в «пошел рублик». Про эти святочные увеселения надо тоже рассказать. Святочные увеселения происходили так: дворовые все, очень много, человек 30, наряжались, приходили в дом и играли в разные игры и плясали под игру на скрипке старика Григорья, который только в эти времена и появлялся в доме. Это было очень весело. Ряженные были, как всегда, медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки – мужчины и мужики – бабы. Помню, как казались мне красивы некоторые ряженные и как хороша была особенно Маша-турчанка. Иногда тетенька наряжала и нас. Был особенно желателен какой-то пояс с камнями и кисейные полотенца, вышитые серебром и золотом, и очень я себе казался хорош с усами, наведенными жженой пробкой. Помню, как, глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турка. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами. В одну из святок в моем первом детстве во время святок приехали к нам все Исленьевы ряженные: отец, дед моей жены, три его сына и три дочери. На всех были удивительные для нас костюмы: был туалет, был сапог, картонный паяц и еще что-то. Исленьевы, приехав за 40 верст, переоделись на деревне, и, войдя в залу, Исленьев сел за фортепьяно и пропел сочиненные им стихи на голос, который я и теперь помню. Стихи были такие:

С Новым годом вас поздравить
Мы приехали сюда;
Коль удастся позабавить,

Это было все очень удивительно и, вероятно, хорошо для больших, но для нас, детей, самое лучшее было дворовые.

Такие увеселения происходили первые дни рождества и под Новый год, иногда и после, до Крещения. Но после Нового года уже приходило мало Народа, и увеселения шли вяло. Так это было в тот день, когда Василий уезжал в Щербачевку. Помню, в углу почти неосвещенной залы мы сидели кружком на до модельных, под красное дерево, с кожаными подушками деревянных стульях и играли в рублик. Один ходил и должен был найти рубль, а мы перепускали его из рук в руки, напевая: «пошел рублик, пошел рублик». Помню, одна дворовая особенно приятным и верным голосом выводила все те же слова. Вдруг дверь буфета отворилась, и Василий, как-то особенно застегнутый, без подноса и посуды прошел через край залы в кабинет. Тут только я узнал, что Василий уезжает приказчиком в Щербачевку. Я понимал, что это было повышение, и рад был за Василья, и вместе с тем мне не только жаль было расстаться с ним; знать, что его не будет в буфете, не будет уж он нас носить на подносе, но я даже не понимал, не верил, чтобы могло совершиться такое изменение. Мне стало ужасно таинственно грустно, и напевы: «пошел рублик», сделались умильно трогательны. Когда же Василий вернулся от тетеньки и с своей милой кривой улыбкой подошел к нам, целуя нас в плечи, я испытал в первый раз ужас и страх перед непостоянством жизни и жалость и любовь к милому Василью.

Когда я после встречал Василья, я видел в нем уже хорошего или дурного приказчика, брата, человека, которого я подозревал, и следа уже не было прежнего святого, братского, человеческого чувства.

Теперь, кажется, могу перейти к братьям.

Митенька – годом старше меня. Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что он в детстве был очень капризен: рассказывали, что на него находили такие капризы, что он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него, потом так же злился и кричал, что няня смотрят на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Сережу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставляли ни малейшего следа. И я

любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее. Я думаю, даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям, и когда оно такое, его не замечаешь. Оно изменяется только тогда, когда не любишь (не не любишь, а боишься) кого-нибудь (так я боялся нищих, боялся одного Волхонского, который щипал меня; больше, кажется, никого) и когда особенно любишь, как я любил тетеньку Татьяну Александровну, брата Сережу, Николеньку, Василья, няню, главное Пашеньку. Ребенком я ничего особенного, кроме детских веселых глупостей, не помню о нем. Особенности его проявились и памятны мне уже в Казани, когда мы переехали в 40 году, и ему было 13 лет. До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ, о которых расскажу после, и учился хорошо, усердно. Помню, учитель, студент Поплонский, дававший нам уроки, определил по отношению к учению нас, трех братьев, так: Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может (это была неправда), и Лев и не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда.

Так что настоящие воспоминания мои о Митеньке начинаются с Казани. В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться (тоже после рассказа). Не только с Казани, но еще прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, *comme il faut*. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, мужественен и то, что делал, доводил до предела своих сил. Когда с ним случилось, что он проглотил цепочку, он, сколько помню, не особенно беспокоился о последствиях этого, тогда как про себя помню, какой я испытал ужас, когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тетенька, и как я торжественно, как бы перед смертью, объявил ей об этом несчастье. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо закут (как весело было) и какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на эту гору. Кажется, Сережа с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием: как выполз из-под пристяжной, как коренная испугалась и т. п. Митенька же подошел – мальчик лет 9-ти к проезжему и начал бранить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели ездить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить. На языке того времени значило высечь.

В Казани начались его особенности. Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко, помню, прекрасно перевел Шиллера *Der Knabe am Bach*^[19] но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив. Помню, как он раз расшалился и как девочки пришли в восторг от этого. И мне стало завидно, и я подумал, что это от того, что он всегда серьезен. И я тоже хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у опекуни-тетушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке был дан Ванюша (Ванюша этот и теперь жив). Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю, кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении.

Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими,

большими карими глазами. Он был велик ростом, худ, довольно силен – не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной. Особенности его начались со времени вступления в университет, он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни.

В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери и которую знал в Николеньке, и которой я был совершенно лишен, – черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда, до самого последнего времени, не мог отделаться от заботы о мнении людском, у Митеньки же этого совсем не было. Никогда не помню на его лице той удерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьезные, спокойные, грустные, иногда недобрые, миндалеобразные, большие карие глаза. С Казани мы только стали обращать на него внимание, и то только потому, что, тогда как мы с Сережей приписывали большое значение *comme il faut*, вообще внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик – подергиванье головой, как бы освобождаясь от узости галстука. Особенность его первая проявилась во время первого говенья. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви.

Мы жили в доме Горталова, против острога. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на страстной неделе вычитывал все Евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство с священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз одни из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи, никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, во Митенька тотчас же с своим серьезным лицом взял и передал. Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор, но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое. Мы, главное – Сережа, водили знакомство с аристократическими

товарищами и молодыми людьми, Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над Митенькой). Он только с Полубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам.

Жили мы тогда на углу Арского поля, в доме Киселевского, наверху. Верх разделялся хорами над залой. В первой части верха, до хор, жил Митенька, в комнате за хорами жил Сережа и я. Мы, и я и Сережа, любили вещицы, убирали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещицы. Митенька никаких вещей не имел. Одну он взял из отцовских вещей – это минералы. Он распределил их на деления и разложил их под стеклами в ящике. Так как мы, братья, да и тетушка, с некоторым презрением смотрели на Митеньку за его низкие вкусы и знакомства, то этот взгляд усвоили себе и наши легкомысленные приятели. Один из таких, очень недалекий человек, инженер Ес., не столько по нашему выбору наш приятель, но потому, что он лип к нам, один раз, проходя через комнату Митеньки, обратил внимание на минералы и спросил Митеньку. Ес. был несимпатичен, ненатурален. Митенька ответил неохотно. Ес. двинул ящик и потряс их. Митенька сказал: «Оставьте». Ес. не послушался. И что-то подшутил, кажется, назвал его Ноем. Митенька взбесился и своей огромной рукой ударил по лицу Ес. Ес. бросился бежать. Митенька за ним. Когда он прибежал в наши владения, мы заперли двери. Но Митенька объявил нам, что он исколотит его, когда он пойдет назад. Сережа и, кажется, Шувалов пошли усовещать Митеньку, чтобы пропустить Ес. Но он взял половую щетку и объявил, что непременно исколотит его. Не знаю, что бы было, если бы Ес. пошел через его комнату, но он сам просил как-нибудь провести его, и мы провели его, кое-где почти ползком, через пыльный [1 неразобр.] чердак.

Таков был Митенька в свои минуты злобы, но вот каким он был, когда ничто не выводило его из себя. К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка, не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский). Как она попала к нам, – не знаю. Слышал, что ее жалели, ласкали, хотели пристроить, даже выдать замуж за Федора Ивановича, но все это не удалось. Она жила сначала у нас, – я этого не помню; а потом ее взяла тетенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у нее. Так что узнал я ее в Казани. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была

комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было всё распухлое так, как бывают запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевыми, без бровей подушками. Такие же распухшие, глянцевые, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волоса у нее были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп. Вл. Ив. Юшков, муж тетеньки, недобрый шутник, не скрывал свое отвращение к ней. От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И – удивительное дело – мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим, Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось все время, пока мы жили в Казани.

Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер.

Когда мы делились, мне, по обычаю, отдали имение, в котором жили, Ясную Поляну. Сереже, так как он был охотник до лошадей, а в Пирогове был конный завод, отдали Пирогово, он и желал этого, Митеньке и Николеньке отдали остальные два имения: Николеньке – Никольское, Митеньке – курское имение Щербачевку, доставшуюся от Перовской. У меня теперь есть записка Митеньки о том, как он смотрел на владение крепостными. Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в сороковых годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но о нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю и помнится, что Митенька читал эти

письма, что на них указал ему осторожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности. Но, кроме этих обязанностей помещика к крепостным, в то время была другая обязанность, неисполнение которой казалось немислимо, – это служба военная или гражданская. И Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части. Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль – это законодательство. И, решив это, поехал в Петербург и там поехал к статс-секретарю второго отделения во время его приемов. Воображаю удивление Танеева, когда в числе просителей он остановился перед высоким, сутуловатым, плохо одетым (Митенька всегда одевался только для того, чтобы прикрыть тело), с спокойным и серьезным, [с] прекрасными глазами, лицом и, спросив, что ему надо, получил ответ, что он русский дворянин, кончил курс и, желая быть полезным отечеству, избрал своей деятельностью законодательство.

– Ваша фамилия?

– Граф Толстой.

– Вы нигде не служили?

– Я только кончил курс, и мое желание только в том, чтобы быть полезным.

– Какое же место вы желаете иметь?

– Мне все равно, такое, в котором я мог бы быть полезен.

Серьезность искренняя так поразила Танеева, что он повез Митеньку во второе отделение и там передал его чиновникам. Должно быть, отношение чиновников к нему и, главное, к делу оттолкнуло Митеньку, и он не поступил во второе отделение. Знакомых у Митеньки в Петербурге не было никого, кроме правоведа Дмитрия Александровича Оболенского, который в наше казанское время был там стряпчим.

Митенька пришел к Оболенскому на дачу. Оболенский рассказывал мне, посмеиваясь. Оболенский был очень светский, с тактом, честолубивый человек. Он рассказывал, как в то время, как у него были гости (вероятно, из высшего света, которого всегда держался Оболенский), Митенька пришел к нему через сад в фуражке, в нанковом пальто. «Я (Оболенский) сначала не узнал его, но когда узнал, постарался *le mettre a sou aise*^[20], познакомил его с гостями и предложил ему снять пальто, но оказалось, что под пальто ничего не было». Он находил это излишним. Он сел и тотчас же, не стесняясь присутствием гостей, обратился к Оболенскому с тем же вопросом, как и к Танееву: где лучше служить, чтобы принести больше пользы? – Оболенскому, вероятно, с его взглядами на службу, представляющую только

средство удовлетворения честолюбия, такой вопрос, вероятно, никогда не представлялся. Но с свойственным ему тактом и внешним добродушием он ответил, указав на различные места, и предложил свои услуги. Митенька, очевидно, остался недоволен и Оболенским и Танеевым и уехал из Петербурга, не поступив там на службу. Он уехал к себе в деревню и в Судже, кажется, поступил в какую-то дворянскую должность и занялся хозяйством, преимущественно крестьянским.

После выхода его да и моего из университета я потерял его из вида. Знаю, что он жил тою же строгой, воздержной жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни, главное, женщин до 25 лет, что было большою редкостью в то время. Знаю, что он сходил с монахами и странниками и очень сблизился с очень оригинальным человеком, жившим у нашего опекуна Воейкова, происхождение которого никто не знал. Звали его отцом Лукой. Он ходил в подряснике, был очень безобразен, маленький ростом, косой, черный, но очень чистоплотный и необычайно сильный. Он жал руку, как клещами, и говорил всегда как-то значительно и загадочно. Жил он у Воейкова подле мельницы, где построил маленький дом и развел необыкновенный цветник. Этого отца Луку Митенька увозил с собой и, как я слышал, водился с стариком старого заказа, скопидомом-помещиком, соседом Самойловым.

Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшой сын Исленьева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба, укоры совести сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после Севастопольской войны. Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было – одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь испытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне по его

желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее.

Я был особенно отвратителен в эту пору. Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он [умер] через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали.

Бросил хронологический способ изложения – думал, что будет лучше, но и этот способ мне не нравится. Не буду так отдельно описывать братьев С[ережу] и Н[иколеньку] и буду писать опять по порядку, как запомню.

Фанфаронова гора

Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых далеких и милых и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 10–11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что [он] не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе m-me Radcliff без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.

Когда он не рассказывал и не читал (он читал чрезвычайно много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собою и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора.

Так вот он-то, когда нам с братьями было – мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья.) И я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.

Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий,

никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня. Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное... пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье легкое: в продолжение года не видать зайца, все равно, живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн.

Тот, кто исполнит эти условия, и еще другие, более трудные, которые он откроет после, того одно желание, какое бы оно ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наши желания. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска, Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтобы уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались.

В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей. Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, вероятно, слышал о Моравских братьях и соединил все это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас.

Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.

Брат Сережа

Николеньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением, – он всегда пел, – его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чувал, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому – непосредственность, эгоизм. И за это любил особенно Сережу – слово любил неверно. Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем [-то] совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная. На днях он умер, и в предсмертной болезни и умирая, он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был: совсем особенным, самим собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться. С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание. Он завел кур, цыплят своих, и я завел таких же. Едва ли это было не первое мое вникновение в жизнь животных. Помню разной породы цыплят: серенькие, крапчатые, с хохолками, как они бегали на наш зов, как мы кормили их и ненавидели большого голландского, старого, облезлого петуха, который обижал их. Сережа и завел этих цыплят, выпросив их себе; то же сделал и я, подражая ему. Сережа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал (мне казалось, удивительно хорошо) подряд разных цветов кур и петушков, и я делал то же, но хуже. (В этом-то я надеялся усовершенствоваться посредством Фанфароновой горы.) Сережа выдумал, когда вставлены были окна, кормить кур через ключевую дыру посредством длинных сосисок из черного и белого хлеба – и я делал то же.

О братьях придется говорить еще много после, если удастся довести воспоминания хотя бы до женитьбы.

Постараюсь вспомнить самые живые и радостные (грустных, тяжелых не было) до переезда в Москву.

В трех верстах от Ясной Поляны есть деревушка Грумант (так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске, где есть остров Грумант). Там скотный двор и домик, построенный дедом для приезда летом. Как все, что строил дед, было изящно и не пошло, и твердо, прочно, капитально, такой же был и домик с погребом для молочного скопа. Деревянный, с светлыми окнами и ставнями, большой прочной дверью, деревянным диванчиком и столом с большими ящиками, складывавшимся, как пакет, четырьмя сторонами внутрь и так же раскладывавшимся, поворачиваясь на среднем шкворне, так что отвороты эти ложились на углы и составляли большой, аршина в два квадратных, стол.

Домик стоял за деревушкой [в] четыре или пять дворов, в месте, называемом сад, очень красивом, с видом на вьющуюся по долине в лугах Воронку, с лесами по ту и другую сторону. В саду этом был лесок над оврагом, в котором был холодный и обильный ключ прекрасной воды. Оттуда возили каждый день воду в барский дом; и перед оврагом, как продолжение его, большой, глубокий, холодный проточный пруд с карпией, линиями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прелестное, и не только пить там молоко и сливки с черным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при ловле рыбы, но просто побывать там, побегать на гору и под гору, к пруду и от пруда было великое наслаждение. Изредка летом, когда была хорошая погода, мы все ездили туда кататься. Тетушки, Пашенька и девочки в линейке, а мы четверо с Федором Ивановичем в желтом дедушкином кабриолете с высокими круглыми рессорами и с желтыми подлокотниками (других и не было тогда).

За обедом идет разговор о погоде и составляется план, как ехать. Два часа. Мы должны ехать в четыре и вернуться к чаю. Все готово, но лошадей медлят посылать закладывать; с запада из-за деревни и Заказа заходит туча. Мы все в волнении. Федор Иванович старается делать строгий, спокойный вид, но мы возбуждаем и его, и он выходит на балкон, на ветер. Седые волосы его на затылке развеваются, в ту же сторону и фалды его фрака, и он значительно выглядывает через перилы. И мы ждем его решения. «Эта на Сатинка», – говорит он, указывая на самую большую лиловатую тучу. «А это пустой», – говорит он, указывая на другую, идущую с востока.

«Ну, что? Wie glauben Sie?»^[21].

«Muss warten»^[22].

Но туча застилает все небо. Мы в горести. Послали было запрягать, теперь посылают Мишу остановить. Накапывает дождик. Мы в унынии и горести. Но вот Сережа выбежал на

балкон и кричит: «Расчищается! Федор Иванович, kommen sie. Blauer Himmel!»^[23]

– Wo?»^[24]

– Kommen sie!»^[25]

Действительно, между расползающимися тучами голубой кусочек то затягивается, то растягивается. Вот еще, еще. Вот блеснуло солнце.

– Тетенька! Разгулялось! Правда, ей-богу, посмотрите, Федор Иванович сказал.

Зовут Федора Ивановича, он нерешительно, но подтверждает. Колебание и на небе, и у тетенок. Тетенька Татьяна Александровна улыбается и говорит: «Je crois, Alexandrine, en effet, qu'il ne pleuvera plus. Il ne pleuvera pas!»^[26] Смотрите).

– Тетенька, голубушка, велите запрягать. Пожалуйста. Тетенька, голубушка! – кричим больше всего Сережа и я, и помогают нам девочки. И вот решено опять закладывать. Сам Тихон делает антраша и бежит на конюшню. И вот мы топчем ножонками на крыльце, ожидая сначала лошадей, потом тетушек. Подъезжает линейка с балдахином и фартуком. Николай Филипыч правит. Запряжены неручинские гнедые, левая светло-гнедая, широкая с [1 неразобр.] и правая темная, костлявая, с крепотцой, как говорил Николай Филипыч. За линейкой большая гнедая в желтом кабриолете.

Тетеньки и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определенно. Федор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Сережа и Николенька; кабриолет так глубок, что за ними садимся мы – я и Митенька – спинами врозь, к бокам, ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу: справа старый, слева молодой Заказ – одно наслаждение. Но вот подъезжаем к горе, круто спускающейся к реке и мосту. «Halten sie sich, Kinder»^[27], – говорит Федор Иванович, торжественно нахмуриваясь, перехватывает вожжи, и вот мы спускаемся, спускаемся, но в последний момент, шагов тридцать, Федор Иванович пускает лошадь, и мы летим, как нам кажется, с ужасной быстротой. Мы ждем этого момента, и вперед уже замирает сердце. Переезжаем мост, едем вдоль реки, опять мост [?] и поднимаемся на гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад и к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут потом так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени дерев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, веселым, счастливым лицам. Прибегает Матрена-скотница, в затрапезном платье, говорит, что давно ждала нас, и радуется тому, что мы приехали. И я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются.

Радует Матрена, тетенька, расспрашивая ее с участием об ее дочерях, радуются собаки, окружившие Федора Ивановича Берфу (легавая шарло), прибежавшую за нами, радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой посоленный кусок черного хлеба, раскрывают удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и крынки с свежим цельным молоком.

Мы пьем, едим, бегаем к ключу, пьем там воду, бегаем вокруг пруда, где Федор Иванович пускает удочки, и, побыв полчаса, час на Груманте, возвращаемся таким же путем, такие же счастливые. Помню, один раз только наша радость была нарушена случаем, от которого мы – по крайней [мере] я и Митенька – горько плакали. Берфа, милая, коричневая, с прекрасными глазами и мягкой курчавой шерстью собака Федора Ивановича, бежала, как всегда, то сзади, то впереди кабриолета. Один раз при выезде из грумантского сада крестьянские собаки бросились за ней. Она бросилась к кабриолету, Федор Иванович не сдержал лошади и переехал ей лапу. Когда мы вернулись домой, и несчастная Берфа добежала на трех ногах, Федор Иванович с Николаем Дмитричем, нашим дядькой, тоже охотником, осмотрели ее и решили, что нога переломлена, собака испорчена и никогда не будет годиться для охоты.

Я слушал, что говорил Федор Иванович с Николаем Дмитричем в маленькой комнатке наверху, и не верил своим ушам, когда услышал слова Федора Ивановича, который каким-то молодецким, решительным тоном сказал: «Не годится. Повесить его. Один конец».

Собака страдает, больна, и ее повесить за это. Я чувствовал, что это дурно, что этого не надо было делать, но тон Федора Иваныча и Николая Дмитрича, одобдившего это решение, был такой решительный, что я так же, как и тогда, когда Кузьму вели сечь, когда Темешов рассказывал, что он отдал в солдаты человека за то, что он в пост ел скоромное, почувствовал, что что-то дурно, но ввиду несомненных решений людей старших и уважаемых не смел верить своему чувству.

Перебирать все мои радостные детские воспоминания не стану и потому, что этому не будет конца, и потому, что мне они дороги и важны, а передавать их так, чтобы они показались важны посторонним, я не сумею.

Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве и которое, я думаю, было важно, важнее многих и многих чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви,

не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к богу, чувство, которое я впоследствии только редко испытывал; редко, но все-таки испытывал, благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выражалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы муравейные братья, и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу. Но это было редко. И мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это (вероятно, это какие-нибудь рассказы о Моравских братьях, дошедшие до нас через Николенькину Фанфаронову гору), значило только завеситься от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга. Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить.

Началось это, как помнится, от игры в дорогу. Сиделись на стулья, запрягали стулья, устраивали карету или кибитку, и вот сидевшие-то в кибитке переходили из путешественников в муравейные братья. К ним присоединялись и остальные. Очень, очень хорошо это было, и я благодарю бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого.

События в детской деревенской жизни были следующие: поездки отца к Киреевскому и в отъездное поле, рассказы об охотничьих похождениях, к которым мы, дети, прислушивались, как к важным событиям.

Потом – приезды моего крестного Языкова с его гримасами, трубкой, лакеем, стоявшим за его стулом во время обеда. Потом приезды Исленьева с его детьми, одна из которых стала потом моей тещей. Потом приезды Юшкова, который всегда привозил что-нибудь странное: карикатуры, кукол, игрушки.

Одно детское воспоминание о ничтожном событии оставило во мне сильное впечатление, – это, как теперь помню, на нашем детском верху сидел Темешов и разговаривал с Федором Ивановичем. Не помню, почему разговор зашел о соблюдении постов, и Темешов, добродушный Темешов, очень просто сказал: «У меня повар (или лакей, не помню) вздумал есть скромное постом. Я отдал его в солдаты». Потому и помню это теперь, что это тогда показалось мне чем-то странным, для меня непонятным.

Еще событие было – Перовское наследство. Памятен обоз с лошадьми и высоко наложенными возами, который приехал из

Неруча, когда процесс о наследстве, благодаря Илье Митрофановичу, был выигран.

Илья Митрофанович был пьющий запоем, высокий, с белыми волосами старик, бывший крепостной Перовской, великий знаток, какие бывали в старину, всяких кляуз. Он руководил делом этого наследства, и за это он до своей смерти жил и содержался в Ясной Поляне.

Еще памятные впечатления: приезд Петра Ивановича Толстого, отца Валериана, мужа моей сестры, который входил в гостиную в халате, мы не понимали, почему это, но потом узнали, что это было потому, что он был в последней степени чахотки. Другое – приезд его брата – знаменитого американца Федора Толстого. Помню, он подъехал на почтовых в коляске, вошел к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли его особенный, сухой французский хлеб. Он другого не ел. В это время у брата Сергея сильно болели зубы. Он спросил, что у него, и, узнав, сказал, что он может прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собой дверь. Через несколько минут вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров, и дал тетушке платки и сказал: этот, когда он наденет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал. Платки взяли, надели Сереже, и у нас осталось впечатление, что все совершилось, как он сказал.

Помню его прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта, и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного, необыкновенного человека.

Третье впечатление – это было посещение какого-то – не знаю – двоюродного брата матери, князя, гусара Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две.

Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться.

Переезд в Москву

Это было в 37-м году. Но когда – осенью или зимой – не могу припомнить. В пользу того, что это было зимой, только то, что было 7 экипажей и был возок для бабушки с такими широкими отводами, на которых стояли всю дорогу камердинеры, что в Серпухове возок не вошел в ворота. Это я помню, вероятно, по рассказам. В воспоминаниях же моих осталась поездка на колесах. Может быть, я спутал, и возки эти были при нашем отъезде в Казань. Скорее то, что мы ехали на колесах. Я помню это потому, что осталось у меня впечатление от того, что отец ехал сзади в коляске и нас по переменкам – это была большая радость – брали к нему. Помню, что мне досталось въезжать в Москву в коляске с отцом. Был хороший день, и я помню свое восхищение при виде московских церквей и домов, восхищение, вызванное тем тоном гордости, с которым отец показывал мне Москву. Еще признак, по которому помню, что это было по чернотропу, тот, что на 1-й день нашей езды (мы ехали на сдаточных – два дня; ночь ночевали) к вечеру, когда уже стемнело, мы услышали, что близ дороги показалась лисица, и Петруша, камердинер отца, везший с собой борзого кобеля серого Жирана, пустил его за лисицей и побежал за ней. Мы ничего не видели, но очень волновались и огорчились, узнав, что лисица ушла.

О жизни (отрывок)

...Жизнь человека есть стремление к благу, и то, к чему он стремится, то и дано ему.

Зло в виде смерти и страданий видны человеку только, когда он закон своего плотского животного существования принимает за закон своей жизни. Только когда он, будучи человеком, спускается на степень животного, – только тогда он видит смерть и страдания. Смерть и страдания, как пугалы, со всех сторон ухают на него и загоняют на одну открытую ему дорогу человеческой жизни, подчиненной своему закону разума и выражающейся в любви. Смерть и страдания суть только преступления человеком своего закона жизни. Для человека, живущего по своему закону, нет смерти и нет страдания.

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».

«Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (От Мат. Гл. 11).

Жизнь человека есть стремление к благу; к чему он стремится, то и дано ему: жизнь, не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом.

Прибавление 1-е.

Обыкновенно говорят: мы изучаем жизнь не по сознанию своей жизни, а вообще вне себя. Но ведь это все равно, что сказать: мы рассматриваем предметы не глазами, но вообще вне себя.

Предметы мы видим вне себя потому, что мы видим их в своих глазах, и жизнь мы знаем вне себя потому только, что мы ее знаем в себе. И видим предметы мы только так, как мы их видим в своих глазах, и определяем мы жизнь вне себя только так, как мы ее знаем в себе. Знаем же мы жизнь в себе, как стремление к благу. И потому, без определения жизни как стремления к благу, нельзя не только наблюдать, но и видеть жизнь.

Первый и главный акт нашего познания живых существ тот, что мы много разных предметов включаем в понятие одного живого существа, и это живое существо исключаем из всего другого. И то и другое мы делаем только на основании всеми нами одинаково сознаваемого определения жизни, как

стремления к благу себя, как отдельного от всего мира существа.

Мы узнаем, что человек на лошади – не множество существ и не одно существо, не потому, что мы наблюдаем все части, составляющие человека и лошадь, а потому, что ни в голове, ни в ногах, ни в других частях человека и лошади мы не видим такого отдельного стремления к благу, которое мы знаем в себе. И узнаем, что человек на лошади не одно, а два существа, потому что узнаем в них два отдельные стремления к благу, тогда как в себе мы знаем только одно.

Только поэтому мы узнаем, что есть жизнь в соединении всадника и лошади, что есть жизнь в табуне лошадей, что есть жизнь в птицах, в насекомых, в деревьях, в траве. Если же бы мы не знали, что лошадь желает себе своего и человек своего блага, что того желает каждая отдельная лошадь в табуне, что того блага себе желает каждая птица, козявка, дерево, трава, мы не видели бы отдельности существа, а не видя отдельности, никогда не могли бы понять ничего живого: и полк кавалеристов, и стадо, и птицы, и насекомые, и растения – все бы было как волны на море, и весь мир сливался бы для нас в одно безразличное движение, в котором мы никак не могли бы найти жизнь.

Если я знаю, что лошадь, и собака, и клещ, сидящий на ней, – живые существа, и могу наблюдать их, то только потому, что у лошади, и собаки, и клеща есть свои отдельные цели, – цели, для каждого, своего блага. Знаю же я это потому, что таковым, стремящимся к благу, знаю себя.

В этом стремлении к благу и состоит основа всякого познания о жизни. Без признания того, что стремление к благу, которое чувствует в себе человек, есть жизнь и признак всякой жизни, невозможно никакое изучение жизни, невозможно никакое наблюдение над жизнью. И потому наблюдения начинаются тогда, когда уже известна жизнь, и никакое наблюдение над проявлениями жизни не может (как это предполагает ложная наука) определить самую жизнь.

Люди не признают определения жизни в стремлении к благу, которое они находят в своем сознании, а признают возможность знания этого стремления в клеще, и на основании этого предполагаемого, ни на чем не основанного знания того блага, к которому стремится клещ, делают наблюдения и выводы даже о самой сущности жизни.

Всякое мое понятие о внешней жизни основано на сознании моего стремления к благу. И потому, только познав, в чем мое благо и моя жизнь, я буду в состоянии познать и то, что есть благо и жизнь других существ. Благо же и жизнь других существ, не познав свою, я никак не могу знать.

Наблюдения над другими существами, стремящимися к своим, неизвестным мне, целям, составляющим подобие того блага, стремление к которому я знаю в себе, не только не могут ничего уяснить мне, но наверное могут скрыть от меня мое истинное познание жизни.

Ведь изучать жизнь в других существах, не имея определения своей жизни, это все равно, что описывать окружность, не имея центра ее. Только установив одну непоколебимую точку как центр, можно описывать окружность. Но какие бы фигуры мы ни рисовали, без центра не будет окружности.

Прибавление 2-е.

Ложная наука, изучая явления, сопутствующие жизни, и предполагая изучать самую жизнь, этим предположением извращает понятие жизни; и потому, чем дольше она изучает явление того, что она называет жизнью, тем больше она удаляется от понятия жизни, которое она хочет изучать.

Сначала изучаются животные млекопитающиеся, потом другие, позвоночные, рыбы, растения, кораллы, клеточки, микроскопические организмы, и дело доходит до того, что теряется различие между живыми и неживыми, между пределами организма и неорганизма, между пределами одного организма и другого. Доходит до того, что самым важным предметом исследования и наблюдения представляется то, что уже не может быть наблюдаемо. Тайна жизни и объяснение всего представляется в запятых, живчиках, не видных уже, а скорее предполагаемых, нынче открываемых, а завтра забываемых. Объяснение всего предполагается в тех существах, которые содержатся в микроскопических существах, и тех, которые еще и в этих... содержатся, и т. д. до бесконечности, как будто бесконечная делимость малого не есть бесконечность такая же, как и бесконечность великого. Тайна откроется тогда, когда будет исследована вся бесконечность малого до конца, т. е. никогда. И люди не видят того, что представление о том, что вопрос получает разрешение в бесконечно малом, есть несомненное доказательство того, что вопрос поставлен неправильно. И эта последняя стадия безумия – та, которая явно показывает совершенную утрату смысла исследований, – эта-то стадия и считается торжеством науки; последняя степень слепоты представляется высшей степенью зречести. Люди зашли в тупик и тем явно обличили перед собой ложь того пути, по которому они

шли; и тут-то нет пределов их восторгам. Еще немного усилить микроскопы, и мы поймем переход из неорганического в органическое и органического в психическое, и вся тайна жизни откроется нам.

Люди, изучая тени вместо предметов, забыли совсем про тот предмет, тень которого они изучали, и, все дольше и дольше углубляясь в тень, пришли к полному мраку и радуются тому, что тень сплошная.

Значение жизни открыто в сознании человека, как стремление к благу. Уяснение этого блага, более и более точное определение его, составляет главную цель и работу жизни всего человечества, и вот, вследствие того, что работа эта трудна, т. е. не игрушка, а работа, люди решают, что определение этого блага и не может быть найдено там, где оно положено, т. е. в разумном сознании человека, и что поэтому надо искать его везде, – только не там, где оно указано.

Это вроде того, что бы делал человек, которому дали на записке точное указание того, что ему нужно, и который, не умея прочесть ее, бросил бы эту записку и спрашивал бы у всех встречных, не знают ли они того, что ему нужно. Определение жизни, которое неизгладимыми буквами, в его стремлении к благу, начертано в душе человека, люди ищут везде, только не в самом сознании человека. Это тем более странно, что все человечество, в лице мудрейших представителей своих, начиная с греческого изречения, гласившего: «познай самого себя», говорило и продолжает говорить совершенно обратное. Все учения религиозные суть не что иное, как определения жизни, как стремления к действительному, необманному благу, доступному человеку.

Прибавление 3-е.

Все яснее и яснее слышится человеку голос разума; человек чаще и чаще прислушивается к этому голосу, и приходит время и пришло уже, когда голос этот стал сильнее, чем голос, призывающий к личному благу и к обманному долгу. С одной стороны, становится все более и более ясным, что жизнь личности с ее приманками не может дать блага, с другой стороны, то, что уплата всякого долга, предписываемого людьми, есть только обман, лишаящий человека возможности уплаты по единственному долгу человека – тому разумному и благому началу, от которого он исходит. Тот давнишний обман, требующий веры в то, что не имеет разумного объяснения, уже

износился, и нельзя возвратиться к нему.

Прежде говорили: не рассуждай, а верь тому долгу, что мы предписываем. Разум обманет тебя. Вера только откроет тебе истинное благо жизни. И человек старался верить и верил, но сношения с людьми показали ему, что другие люди верят в совершенно другое и утверждают, что это другое дает большее благо человеку. Стало неизбежно решить вопрос о том, какая – из многих – вера вернее; а решать это может только разум.

Человек и всегда познает все через разум, а не через веру. Можно было обманывать, утверждая, что он познает через веру, а не через разум; но как только человек знает две веры и видит людей, исповедующих чужую веру так же, как он свою, так он поставлен в неизбежную необходимость решить дело разумом. Буддист, познавши магометанство, если он останется буддистом, останется буддистом уже не по вере, а по разуму. Как скоро ему предстала другая вера и вопрос о том, откинуть ли свою или предлагаемую, – вопрос решается неизбежно разумом. И если он, узнав магометанство, остался буддистом, прежняя слепая вера в Будду уже неизбежно зиждется на разумных основаниях.

Попытки в наше время влить в человека духовное содержание через веру помимо разума – это все равно, что попытки питать человека помимо рта.

Общение людей показало им ту, общую им всем, основу познания, и люди уже не могут вернуться к прежним заблуждениям – и наступает время и наступило уже, когда мертвые услышат глас сына божия и, услышав, оживут.

Заглушить этот голос нельзя, потому что голос этот не чей-нибудь один голос, а голос всего разумного сознания человечества, который высказывается и в каждом отдельном человеке, и в лучших людях человечества, и теперь уже в большинстве людей.

Правила (из дневников)

[Март – май 1847 г.]

Правила внутренние или в отношении к самому себе разделяются на правила образования нравственного и правила образования телесного. Задачей первых есть: развить волю, умственные способности (обдуманность и деятельность). Воля бывает на различных ступенях развития, смотря по тому, над какой частью человека она преобладает. Три главные момента ее владычества суть: преобладание над телом, преобладание над чувствами и над разумом. В каждый момент ее преобладания она сливается в одно с той частью человека, над которой она преобладает, так что уже не существует более этой части самостоятельно, а существует только воля, одаренная способностями этой части человека.

Ежели воля преобладает над телом, что есть низшая ступень ее развития, то тело перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная. Ежели она преобладает над чувствами, то ни тело, ни чувства более не существуют самостоятельно, а существует одна воля телесная и чувственная; ежели же воля преобладает над разумом, то разум перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная, чувственная и разумная. Ибо когда воля преобладает над какой бы то ни было из этих частей человека, то она может отречься от требований каждой этой части человека. Ежели же она может отрекаться, то она может и выбирать; ежели же она выбирает, то она и определяет деяния каждой из этих частей человека; ежели же она определяет все деяния человека, следовательно, ни тело, ни чувства, ни разум не могут действовать самостоятельно, и одна только воля может заставить их делать то или другое.

Низшее преобладание воли есть преобладание ее над телом. Эту ступень развития воли мы находим почти у всех людей, она есть необходимое условие существования человека, хотя и есть немногочисленные исключения: младенчество, дряхлость и болезни, как телесные, так и духовные (апатия, анемия). Воля телесная хотя и самостоятельна, но, однако, подлежит влиянию чувства и разума. Вторая степень преобладания воли – преобладание ее над чувствами, или воля чувственная, встречается реже. Хотя воля чувственная выше воли телесной, не менее того на нее имеет влияние высшая способность духа – разум.

Высшая же степень преобладания воли есть преобладание ее

над разумом. Когда воля преобладает над разумом, то ни тело, ни чувства не существуют более самостоятельно, а существует одна воля разумная. Эта степень преобладания есть высшая степень развития духа человека; в этом положении дух совершенно отделяется от тела, он более не связан им. Эту степень развития воли мы весьма редко встречаем. В этом состоянии воля повелевает разуму мыслить, и мыслить об том только, что разумно. В этом положении души тело, чувства и разум перестают существовать самостоятельно, существует одна воля, одаренная телесными, чувственными и разумными способностями человека; в этом положении дух человека восходит на высшую степень своего развития и совершенно отдалается, от всего вещественного и чувственного; в этом положении души разум мыслит только потому, что воля хочет, чтобы он мыслил, и мыслит о том, а не о другом, потому что именно этот предмет мышления избрала воля. На таковую степень воли ничто не имеет влияния.

Для того, чтобы развить волю вообще и дойти до высшей ступени ее развития, надо необходимо пройти и низшие ступени. Сообразно с этим делением воли, я и правила нравственные, имеющие предметом развить волю, делю на три отдела: на 1) правила для развития воли телесной, 2) правила для развития воли чувственной, 3) правила для развития воли разумной.

Правила для развития воли телесной

Правило общее. Все деяния должны быть определениями воли, а не бессознательным исполнением телесных потребностей. Так как мы уже сказали, что на волю телесную имеют влияние чувства и разум, то эти две способности должны определить правила, по которым бы могла действовать воля телесная для своего развития. Чувства дают ей направление и указывают цель ее, разум же дает способы, которыми телесная воля может достигнуть этой цели.

Правило 1) каждое утро назначай себе все, что ты должен делать в продолжение целого дня, и исполняй все назначенное даже в том случае, ежели исполнение назначенного влекло за собою какой-нибудь вред. Кроме развития воли, это правило разовьет и ум, который будет обдуманнее определять деяния воли. Правило 2) спи как можно меньше (сон, по моему мнению, есть такое положение человека, в котором совершенно отсутствует воля). Правило 3) все телесные неприятности переноси, не выражая их наружно. 4) Будь верен своему слову. 5)

Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай его, не окончив. 6) Имей всегда таблицу, в которой бы были определены все самые мелкие обстоятельства твоей жизни, даже сколько трубок курить в день. 7) Ежели ты что-нибудь делаешь, то напрягай все свои телесные способности на тот предмет, который ты делаешь. Ежели же переменяется твой образ жизни, то переменяй и эти правила.

Правила для развития воли чувственной

(Чувства сами назначают себе цель.)

Источник всех чувств есть любовь вообще, которая разделяется на два рода любви: любовь к самому себе, или самолюбие, и любовь к всему нас окружающему. (Я не признаю любви к богу; потому что нельзя называть одним именем чувство, которое мы имеем к себе подобным или низшим существам, и чувство к высшему, не ограниченному ни в пространстве, ни в времени, ни в силе, и непостижимому существу.) Эти два основных чувства действуют взаимно одно на другое. Общее правило: все чувственные деяния не должны быть бессознательным исполнением потребностей чувства, но определением воли. Все чувства, имеющие источником любовь ко всему миру, хороши, все чувства, имеющие источником самолюбие, дурны. Рассмотрим каждый разряд чувств порознь. Какие чувства происходят от самолюбия? 1) Славолюбие, 2) корыстолюбие, 3) и любовь (между мужчиной и женщиной).

Теперь посмотрим, какие должны быть правила для преобладания воли над каждым из этих чувств.

Правила для подчинения воле чувства самолюбия

Правило 8) не заботься о одобрении людей, которых ты или не знаешь, или презираешь. Правило 9) занимайся более сам с собою, чем мнением других. 10) Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош. (Славолюбие бывает полезно другим, но не самому себе.) 11) Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную. Всегда говори правду. Ежели, действуя для себя, деяния твои кажутся странными, то не оправдывай свои деяния ни перед кем. К правилам для подчинения чувств воле нужно прибавить еще одно следующее. 12) Никогда не выражай своих чувств наружно.

Правила для подчинения воле чувства корыстолюбия

Правило 13) живи всегда хуже, чем ты бы мог жить. 14) Не переменный образа жизни, ежели бы даже ты сделался в десять раз богаче. 15) Всякое приращение к твоему имению употребляй не для себя, а для общества.

Правила для подчинения воле чувства любви

Правило 1-е. Отдаляйся от женщин. 2-е. Убивай трудами свои похоти.

Чувства, происшедшие от любви, суть: 1) любовь ко всему существующему, 2) любовь к отечеству, 3) любовь к известным лицам.

Правила для подчинения воле чувства всеобщей любви

Правило 16. Жертвуй всеми прочими чувствами любви любви всеобщей, тогда воля будет требовать одного исполнения потребностей любви всеобщей и будет преобладать над нею. Правило 17-е). Жертвуй десятую долю всего того, чем ты можешь располагать, для блага других.

Люби себя равно с другими и помогай более тем, которые несчастнее и тебе удобнее помогать.

Правила для подчинения воле чувства любви отечества любви известных лиц

18) Эти все чувства подчиняются одно другому в том самом порядке, в котором они здесь стоят.

Правила для развития воли разумной

Правило 19) определяй с начала дня все твои умственные занятия. 20) Когда ты занимаешься, старайся, чтобы все умственные способности были устремлены на этот предмет. 21) Чтобы ничто внешнее, телесное или чувственное не имело влияния на направление твоей мысли, но чтобы мысль определяла сама себя. 22) Чтобы никакая боль, как телесная, так и чувственная, не имела влияния на ум.

Какое бы ты ни начал умственное занятие, не бросай его до тех пор, покуда ты его не кончишь. Так как это правило может повести к большим злоупотреблениям, то здесь нужно его ограничить следующим правилом: имей цель для всей жизни, цель для известной эпохи твоей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часу и для минуты, жертвуя низшие цели высшим.

Правила для развития памяти

Правило 23) составляй конспект из всего, чем занимаешься, и учи его наизусть. 24) Каждый день учить стихи на таком языке, который ты слабо знаешь. 25) Повторяй вечером все то, что узнал в продолжение дня. Каждую неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, чем занимался, ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала.

Правила для развития деятельности

Деятельность бывает трех родов. Деятельность телесная, чувственная и умственная. Сообразно с этим и правила для развития деятельности разделяются на правила для развития деятельности телесной, чувственной и умственной.

Правила для развития деятельности телесной

Правило 26) Придумывай себе как можно больше занятий. 27) Не имей прислуги. 28) Не требуй помощников в том деле, которое ты можешь кончить один.

Правила для развития деятельности чувственной

Как уже сказано, что все чувства, происходящие от самолюбия, дурны, то, следовательно, здесь нам следует только дать правила, по которым могла бы развиваться деятельность чувств, происходящих от любви вообще. Правило 29), относящееся к любви вообще. Чтоб каждый день любовь твоя ко всему роду человеческому выражалась бы чем-нибудь. Правило 30), относящееся к любви к отечеству. Будь полезен, сколько ты можешь, отечеству. 31), относящееся к любви к известным лицам. Старайся как можно больше находить людей, которых бы ты мог любить больше, чем всех ближних. 32), относящееся к любви к родственникам.

Правила для развития деятельности умственной

Правило 32) Не делай châteaux en Espagne^[28]. 33) Старайся дать уму как можно больше пищи.

Правила для развития умственных способностей

Мы имеем пять главных умственных способностей. Способность представления, способность памяти, способность сравнения, способность делать выводы из этих сравнений и, наконец, способность приводить выводы эти в порядок.

Правила для развития способности представления

34) Очень полезны для развития этой способности все игры, требующие соображения.

О правилах для развития способности памяти я уже говорил.

Правила для развития способности сравнения

35) Изучай хорошо те предметы, которые ты сравниваешь. 36) Всякую новую тебе встретившуюся мысль сравнивай с теми мыслями, которые тебе известны. Все отвлеченные мысли оправдывай примерами.

Правила для развития способности делать выводы

36) Занимайся математикой. 37) Занимайся философией. 38) Всякое философическое сочинение читай с критическими замечаниями.

Правила для развития способности приводить выводы в порядок

39) Изучи систему своего существа. 40) Все твои сведения по одной какой-нибудь отрасли знания приведи к одному общему выводу. 41) Все выводы сравни между собою, и чтобы ни один вывод не противоречил другому. 42) Пиши сочинения не мелкие, но ученые.

Правила для развития чувств высоких и уничтожения чувств низких, или иначе: правила для развития чувства любви и уничтожения чувства самолюбия

Правило общее: чем более исполняешь ты какую-нибудь из твоих потребностей, тем более она усиливается, и чем менее исполняешь ты ее, тем менее она действует. 42) Любя всех равно, не исключай и самого себя из этой любви. 43) Каждого ближнего люби так же, как и самого себя, но двух ближних люби более, нежели самого себя.

Правила для развития обдуманности

Всякий предмет осматривай со всех сторон. Всякое деяние осматривай со стороны его вреда и его пользы. При всяком деянии рассматривай, сколькими способами оно может быть сделано и который из этих способов лучший. Рассматривай причины всякого явления и могущие быть от него следствия.

О женщинах

Призвание всякого человека, мужчины и женщины, в том, чтобы служить людям. С этим общим положением, я думаю, согласны все небезнравственные люди. Разница между мужчинами и женщинами в исполнении этого назначения только в средствах, которыми они его достигают, т. е. чем они служат людям.

Мужчина служит людям и физической работой – приобретая средства пропитания, и работой умственной – изучением законов природы для побеждения ее, и работой общественной – учреждением форм жизни, установлением отношений между людьми. Средства служения людям для мужчины очень многообразны. Вся деятельность человечества, за исключением деторождения и кормления, составляет поприще этого служения. Женщина же, кроме своей возможности служения людям всеми теми же, как и мужчина, средствами, по строению своему призвана, привлечена к тому служению, которое одно исключено из области служения мужчины.

Служение человечеству само собой разделяется на две части: одно – увеличение блага в существующем человечестве, другое – продолжение самого человечества. К первому призваны преимущественно мужчины, так как они лишены возможности служить второму. Ко второму призваны преимущественно женщины, так как они исключительно способны к нему. Этого различия нельзя, не должно и грешно (т. е. ошибочно) не помнить и стирать. Из этого различия вытекают обязанности тех и других – обязанности, не выдуманные людьми, но лежащие в природе вещей. Из этого же различия вытекает оценка добродетели и порока женщины и мужчины, – оценка, существовавшая во все века и теперь существующая, и никогда не перестающая существовать, пока в людях есть и будет разум.

Всегда было и будет то, что мужчина, проводящий большую часть своей жизни в свойственном ему многообразном физическом и умственном, общественном труде, и женщина, проводящая большую часть своей жизни в свойственном исключительно ей труде рождения, кормления и возвращения детей, будут одинаково чувствовать, что они делают то, что должно, и, делая эти дела, будут одинаково возбуждать уважение и любовь других людей, потому что оба исполняют то, что предназначено им по их природе.

Призвание мужчины многообразнее и шире, призвание женщины однообразнее и уже, но зато глубже, и потому всегда

было и будет то, что мужчина, имеющий сотни обязанностей, изменив одной, десяти из них, остается недурным, невинным человеком, исполнившим все-таки часть своего призвания. Женщина же, имеющая малое число обязанностей, изменив одной из них, тотчас же нравственно падает ниже мужчины, изменившего десяти из сотни своих обязанностей. Таково всегда было общее мнение, и таково оно всегда будет, потому что такова сущность дела.

Мужчина для исполнения воли Бога должен служить Ему и в области физического труда, и мысли, и нравственности: он всеми этими делами может исполнить свое назначение. Для женщины средства служения Богу суть преимущественно и почти исключительно (потому что, кроме нее, никто не может этого сделать) дети. Только через произведения свои призван служить Богу и людям мужчина, только через детей своих призвана служить женщина.

И потому любовь к своим детям, вложенная в женщину, исключительная любовь, с которой совершенно напрасно бороться рассудочно, всегда будет и должна быть свойственна женщине-матери. Любовь эта к ребенку в младенчестве есть вовсе не эгоизм, а это есть любовь работника к той работе, которую он делает, в то время как она у него в руках. Отнимите эту любовь к предмету своей работы – и невозможна работа.

То же и с матерью. Мужчина призван служить людям через многообразные работы, и он любит эти работы, пока их делает. Женщина призвана служить людям через своих детей, и она не может не любить этих своих детей, пока она их родит, кормит, воспитывает.

По общему призванию – служить Богу и людям – мужчина и женщина совершенно равны, несмотря на различие в форме этого служения. Равенство в том, что одно служение столь же важно, как и другое, что одно немыслимо без другого, что одно обуславливает другое и что для действительного служения как мужчине, так и женщине одинаково необходимо знание истины, без которого деятельность как мужчины, так и женщины становится не полезной, но вредной для человечества. Мужчина призван исполнять свой многообразный труд; но труд его тогда только полезен, и его работа – и физическая, и умственная, и общественная – тогда только плодотворна, когда она совершается во имя истины и блага других людей.

То же и с призванием женщины: ее рождение, кормление и возвращение детей будут полезны человечеству только тогда, когда она будет выращивать не просто детей для своей радости, а будущих слуг человечества; когда воспитание этих детей будет

совершаться во имя истины и для блага людей, т. е. она будет воспитывать детей так, чтобы они были наилучшими работниками для других людей.

«Ну а те, у которых нет детей, которые не вышли замуж, вдовы?»

Те будут прекрасно делать, если будут участвовать в мужском многообразном труде.

Всякая женщина, отрожавшая, если у нее есть силы, успеет заняться этой помощью мужчине в его труде. Помощь женщины в этом труде очень драгоценна; но видеть молодую женщину, готовую к деторождению и занятую мужским трудом, всегда будет жалко. Видеть такую женщину – все равно что видеть драгоценный чернозем, засыпанный щебнем для плаца или гулянья. Еще жальче: потому что земля эта могла бы родить только хлеб, а женщина могла бы родить то, чему не может быть оценки, выше чего ничего нет, – человека. И только она одна может это делать.

Эту запись своего разговора с женой в ночь с 28 на 29 июля 1898 года Толстой намеревался послать Т. А. Кузминской, поэтому запись сделана в форме письма к ней. Однако Толстой не отослал ее, и запись осталась в его бумагах. Разговор шел об отношениях С. А. Толстой с С. И. Танеевым.

Нынче ночью был разговор и сцена, которая подействовала на меня еще гораздо более, чем последняя ее поездка. Для характеристики разговора надо сказать, что я в этот день только что приехал в 12-м часу ночи из поездки за восемнадцать верст для осмотра имения Маши. Я не говорю, что в этом был труд для меня, это было удовольствие, но все-таки я несколько устал, сделав около сорока верст верхом, и не спал в этот день. А мне 70 лет.

Под влиянием твоих разговоров, усталости и хорошего, доброго расположения духа я лег спать с намерением не говорить ничего о том, что было, и в надежде, что все это, как ты утешала меня, само собой сойдет на нет. Легли. Помолчали. Она начала говорить.

О. Ты поедешь в Пирогово, будешь меня бранить Сереже?

Я. Я ни с кем не говорил, ни с Таней, дочерью.

О. Но с Таней, сестрой, говорил?

Я. Да.

О. Что же она говорила?

Я. То же, что тебе... мне тебя защищала, тебе, вероятно, за меня говорила.

О. Да, она ужасно строга была ко мне. Слишком строга. Я не заслуживаю.

Я. Пожалуйста, не будем говорить, уляжется, успокоится и, бог даст, уничтожится.

О. Не могу я не говорить. Мне слишком тяжело жить под вечным страхом. Теперь, если он заедет, начнется опять. Он не говорил ничего, но, может быть, заедет.

Известие, что он приедет – как всегда бывало – может быть, а в действительности наверное – было мне очень тяжело. Только что хотел не думать об этом, как опять это тяжелое посещение. Я молчал, но не мог уж заснуть и не выдержал, сказал:

Я. Только что надеялся успокоиться, как опять ты будто приготавливаешь меня к неприятному ожиданию.

О. Что же мне делать? Это может быть, он сказал Тане. Я не звала. Может быть, он заедет.

Я. Заедет он или не заедет, неважно, даже твоя поездка не

важна, важно, как я говорил тебе, два года назад говорил тебе, твое отношение к твоему чувству. Если бы ты признавала свое чувство нехорошим, ты бы не стала даже и вспоминать о том, заедет ли он, и говорить о нем.

О. Ну, как же быть мне теперь?

Я. Покаяться в душе в своем чувстве.

О. Не умею каяться и не понимаю, что это значит.

Я. Это значит обсудить самой с собой, хорошо ли то чувство, которое ты испытываешь к этому человеку, или дурное.

О. Я никакого чувства не испытываю, ни хорошего, ни дурного.

Я. Это неправда.

О. Чувство это так неважно, ничтожно.

Я. Все чувства, а потому и самое ничтожное, всегда или хорошие, или дурные в наших глазах, и потому и тебе надо решить, хорошее ли это было чувство, или дурное.

О. Нечего решать, это чувство такое неважное, что оно не может быть дурным. Да и нет в нем ничего дурного.

Я. Нет, исключительное чувство старой замужней женщины к постороннему мужчине – дурное чувство.

О. У меня нет чувства к мужчине, есть чувство к человеку.

Я. Да ведь человек этот мужчина.

О. Он для меня не мужчина. Нет никакого чувства исключительного, а есть то, что после моего горя мне было утешение музыка, а к человеку нет никакого особенного чувства.

Я. Зачем говорить неправду?

О. Но хорошо. Это было. Я сделала дурно, что заехала, что огорчила тебя. Но теперь это кончено, я сделаю все, чтобы не огорчать тебя.

Я. Ты не можешь этого сделать потому, что все дело не в том, что ты сделаешь – заедешь, примешь, не примешь, дело все в твоём отношении к твоему чувству. Ты должна решить сама с собой, хорошее ли это, или дурное чувство.

О. Да нет никакого.

Я. Это неправда. И вот это-то и дурно для тебя, что ты хочешь скрыть это чувство, чтобы удержать его. А до тех пор, пока ты не решишь, хорошее это чувство или дурное, и не признаешь, что оно дурное, ты будешь не в состоянии не делать мне больно. Если ты признаешь, как ты признаешь теперь, что чувство это хорошее, то никогда не будешь в силах не желать удовлетворения этого чувства, то есть видаться, а желая, ты невольно будешь делать то, чтобы видаться. Если ты будешь избегать случаев видаться, то тебе будет тоска, тяжело. Стало быть, все дело в том, чтобы решить, какое это чувство, дурное или хорошее.

О. Дурно я сделала, что сделала тебе больно, и в этом раскаиваюсь.

Я. Вот это-то и дурно, что ты раскаиваешься в поступках, а не в том чувстве, которое ими руководит.

О. Я знаю, что я никого больше тебя не любила и не люблю. Я бы желала знать, как ты понимаешь мое чувство к тебе. Как же бы я могла любить тебя, если бы любила другого?

Я. Твой разлад от этого-то и происходит, что ты не уяснила себе значения своих чувств. Пьяница или игрок очень любит жену, а не может удержаться от игры и вина и никогда не удержится, пока не решит в своей душе, хорошее ли чувство его любовь к игре и к вину. Только когда это решено, возможно избавление.

О. Все одно и то же.

Я. Да не могу я ничего сказать другого, когда ясно, как день, что все дело только в этом.

О. Ничего дурного я не делала.

Так с разными вариациями разговор приходил все к тому же. Она старалась показать, что чувство это очень неважное, и потому не может быть осуждаемо, и нет причин бороться с ним. Я все время возвращался к тому, что если в душе чувство признается хорошим, то от него нет избавления и нет избавления от тех сотен тысяч мелочных поступков, которые вытекают из этого чувства и поддерживают его.

О. Ну что же будет, если я признаю чувство дурным?

Я. То, что ты будешь бороться с ним, будешь избегать всего того, что поддерживает его. Будешь уничтожать все то, что было связано с ним.

О. Да это все к тому, чтобы лишить меня единственного моего утешения – музыки. Я в ужасном *cercle vicieux*. У меня тоска. Тоску эту я разгоняю только игрой на фортепьяно. Если я играю, ты говоришь, что это все в связи с моим чувством, если я не играю, я тоскую, и ты говоришь, что причиной мое чувство.

Я. Я одно говорю: надо решить, хорошее это или дурное чувство. Без этого наши мучения не кончатся.

О. Нет никакого чувства, нечего решать.

Я. Пока ты так будешь говорить, нет выхода. Но, впрочем, если у человека нет того нравственного суда, который указывает ему, что хорошо, что дурно, человек, как слепой, разобрать цвета не может. У тебя нет этого нравственного судьи, и потому не будем говорить – два часа.

Долгое молчание.

О. Ну вот, я спрашиваю себя совершенно искренно: какое мое чувство и чего бы я желала? Я желала бы больше ничего, как то,

чтобы он раз в месяц приходил посидеть, поиграть, как всякий добрый знакомый.

Я. Ну ведь вот ты сама этими словами подтверждаешь, что у тебя исключительное чувство к этому человеку. Ведь нет никакого другого человека, ежемесячное посещение которого составляло бы для тебя радость. Если посещение раз в месяц приятно, то приятнее еще раз в неделю и каждый день. Ты невольно этим самым говоришь про свое исключительное чувство. И без того, чтобы ты не решила вопрос о том, хорошо ли это, или дурно, ничего измениться не может.

О. Ах, все одно и одно. Мученье. Другие изменяют мужьям, столько их не мучают, как меня. За что? За то, что я полюбила музыку. Можно упрекать за поступки, а не за чувства. Мы в них не властны. А поступков никаких нет.

Я. Как нет? А поездка в Петербург, и туда и сюда, и вся эта музыка?

О. Да что ж особенного в моей жизни?

Я. Как что ж особенного? Ты живешь какой-то исключительной жизнью. Ты сделалась какой-то консерваторской дамой.

Слова эти почему-то ужасно раздражают ее.

О. Ты хочешь измучить меня и лишить всего. Это такая жестокость.

Она приходит в полуистерическое состояние. Я молчу довольно долго, потом вспоминаю о боге. Молюсь и думаю себе: «Она не может отречься от своего чувства, не может разумом влиять на чувства. У нее, как у всех женщин, первенствует чувство, и всякое изменение происходит, может быть, независимо от разума, в чувстве... Может быть, Таня права, что это само собой понемногу пройдет своим особенным, непонятным мне женским путем. Надо сказать ей это, думаю я, и с жалостью к ней и желанием успокоить ее, говорю ей это, – то, что я, может быть, ошибаюсь, так по-своему ставя вопрос, что она, может быть, придет к тому же своим путем и что я надеюсь на это. Но в это время в ней раздражение дошло до высшей степени.

О. Ты измучил меня, долбишь два часа одной и той же фразой: исключительное, исключительное чувство, хорошее или дурное, хорошее или дурное. Это ужасно. Ты своей жестокостью доведешь бог знает до чего.

Я. Да я молился и желал помочь тебе...

О. Все это ложь, все фарисейство, обман. Других обманывай, я вижу тебя насквозь.

Я. Что с тобой? Я именно хотел доброе.

О. Нет в тебе доброго. Ты злой, ты зверь. И буду любить

добрых и хороших, а не тебя. Ты зверь.

Тут уж начались бессмысленные, чтобы не сказать ужасные, жестокие речи: и угрозы, и убийство себя, и проклятия всем, и мне и дочерям. И какие-то угрозы напечатать свои повести, если я напечатаю «Воскресение» с описанием горничной. И потом рыдания, смех, шептание, бессмысленные и, увы, притворные слова: голова треснет, вот здесь, где ряд, отрежь мне жилу на шее, и вот он, и всякий вздор, который может быть страшен. Я держал ее руками. Я знал, что это всегда помогает, поцеловал ее в лоб. Она долго не могла вздохнуть, потом начала зевать, вздыхать и заснула и спит еще теперь.

Не знаю, как может разрешиться это безумие, не вижу выхода. Она, очевидно, как жизнью дорожит этим своим чувством и не хочет признать его дурным. А не признав его дурным, она не избавится от него и не перестанет делать поступки, которые вызываемы этим чувством, поступки, видеть которые мучительно, и стыдно видеть их мне и детям.

Из дневников

(1851 г.) 8 июня. [Старый Юрт.] Любовь и религия – вот два чувства – чистые, высокие. Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал. Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась; но я мало знал ее (фу! какая грубая вещь слово! – как площадно, глупо выходят переданные чувства). Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время. Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов. Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу. Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида, прости меня, ежели это так, я виновен, одним словом мог бы и тебя уверить. Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жалче, увижу ее в чепце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом. Я не оставляю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастье; но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное. Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества и от этого, может быть, лишусь счастья. Смешно. Забыли взять рубашку со складками, от этого я не служу в военной службе. Ежели бы забыли взять фуражку, я бы не думал являться к Воронцову и служить в Тифлисе. В папаше нельзя же! Теперь бог знает, что меня ждет. Предаюсь в волю его. Я сам не знаю, что нужно для моего счастья и что такое счастье. Помнишь Архирейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое... не свое, а наше счастье. Лучшим воспоминанием в жизни останется навсегда это милое

время. А какое пустое и тщеславное создание человек. Когда у меня спрашивают про время, проведенное мною в Казани, я небрежным тоном отвечаю: «Да, для губернского города очень порядочное общество, и я довольно весело провел несколько дней там». Подлец! Все осмеяли люди. Смеются над тем, что с милым рай и в шалаше, и говорят, что это неправда. Разумеется, правда; не только в шалаше, в Крапивне, в Старом Юрте, везде. С милым рай и в шалаше, и это правда, правда, сто раз правда.

11 июня. Встал поздно, разбудил меня Николенька приходом с охоты. Я ищу все какого-то расположения духа, взгляда на вещи, образа жизни, которого я ни найти, ни определить не умею. Хотелось бы мне больше порядка в умственной деятельности, больше самой деятельности, больше вместе с тем свободы и непринужденности. Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал молиться богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Троицу, Милосердия Двери, воззвание к ангелу-хранителю и потом остался еще на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все, и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое испытал я вчера – это любовь к богу. Любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное.

Как страшно было мне смотреть на всю мелочную – порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я бога принять меня в лоно свое. Я не чувствовал плоти, я был – один дух. Но нет! плотская – мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог.

Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы. Зачем? не знаю. И как я смею говорить: не знаю. Как

смел я думать, что можно знать пути провидения. Оно источник разума, и разум хочет постигнуть... Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить его. Благодарю его за минуту блаженства, которая показала мне ничтожность и величие мое. Хочу молиться; но не умею; хочу постигнуть; но не смею – предаюсь в волю твою! Зачем писал я все это? Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои; а были так высоки!

Утро я провел довольно хорошо, немного ленился, солгал, но безгрешно. Завтра напишу письмо Загоскиной, хотя черновое. Рисовал не тщательно. Вечером любовался облаками. Славные были при заходе солнца облака. Запад краснел, но солнце было еще на расстоянии сажени от горизонта. Над ним вились массивные, серо-пунцовые облака. Они неловко как-то соединялись. Я поговорил с кем-то и оглянулся: по горизонту тянулась серо-красная темная полоса, оканчивавшаяся бесконечно разнообразными фигурами: то склонявшимися одна к другой, то расходившимися, с светло-красными концами.

Человек сотворен для уединения – уединения не в фактическом отношении, но в моральном. Есть некоторые чувства, которые поверять никому не надо. Будь они прекрасные, возвышенные чувства, теряешь во мнении того человека, которому их поверяешь, или даже дашь возможность о них догадываться. Поверяя их, человек не сознает их вполне, а только выражает свои стремления. Незнание привлекает более всего. Мы живем теперь с братом между такими людьми, с которыми нам нельзя не сознать взаимное превосходство над другими; но мы мало говорим между собой, как будто боимся, сказав одно, дать догадаться о том, что мы хотим от всех скрывать. Мы слишком хорошо знаем друг друга.

Меня поразили три вещи: 1) разговоры офицеров о храбрости. Как заговарят о ком-нибудь. Храбр он? Да, так. Все храбры. Такого рода понятия о храбрости можно объяснить вот как: храбрость есть такое состояние души, при котором силы душевные действуют одинаково при каких бы то ни было обстоятельствах. Или напряжение деятельности, лишаящее сознания опасностей. Или есть два рода храбрости: моральная и физическая. Моральная храбрость, которая происходит от сознания долга и вообще от моральных влечений, а не от сознания опасности. Физическая та, которая происходит от физической необходимости, не лишая сознания опасности, и та, которая лишает этого сознания. Примеры первой – человек, добровольно жертвующий собой для спасения отечества или лица. 2) Офицер, служащий для выгод. 3) В турецкой кампании бросились в руки неприятеля, чтобы только напиться, русские

солдаты. Здесь только пример с нашей стороны храбрости физической и потому все.

1851. 29 ноября. Тифлис. Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне [не] хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет – время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою.

В мужчин я очень часто влюблялся, первой любовью были два Пушкина 28, потом 2-й – Сабуров, потом 3-ей – Зыбин и Дьяков, 4 – Оболенский, Блосфельд, Иславин, еще Готье и многие другие. Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или не понравиться любимому предмету, просто страх. [...] Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви – совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство.

[...] Живопись действует на способность воображать природу, и ее область – пространство. Музыка действует на способность воображать ваши чувства. И ее область – гармония и время. Поэзия действует на способность воображать как то, так другое, то есть действительность или отношения наших чувств к природе. Переход от живописи к музыке есть танцы. От музыки к поэзии – песни. Отчего музыку древние называли подражательною? Отчего к каждому переходу не присоединить какое-нибудь чувство? Отчего музыка действует на нас, как воспоминание? Отчего, смотря по возрасту и воспитанию, вкусы к музыке различны? Почему живопись есть подражание природе, очень ясно (хотя оно не полно); но почему музыка есть подражание нашим чувствам и какое сродство каждой перемены звука с каким-нибудь чувством? Нельзя сказать. Природа подлежит нашим пяти чувствам, а чувства, как: отчаяние, любовь, восторг и т. д. и их оттенки, не только не подлежат нашим пяти чувствам, но даже не подлежат и

рассудку. Музыка имеет даже перед поэзией то преимущество, что подражание чувствам музыки полнее подражания поэзии, но не имеет той ясности, которая составляет принадлежность поэзии.

Свобода состоит в отсутствии принуждения делать зло; ежели таким образом понимать свободу, то понятно, что она имеет это качество. Совершенной свободы нет, но более или менее происходит от большей или меньшей власти и искушения в обратном отношении.

Я допускаю власть рока только в том, что не имеет отношения к добру и злу (внутреннему). Никакое положение человека не может заставить быть добрым или злым.

Властью рока я выражаю – чему быть, тому не миновать и – «да будет воля твоя».

Все атомы имеют сферическую форму и обращаются вокруг своей оси. Закон тяготения есть закон – центробежной и центростремительной силы. Чувство осязания происходит от трения обращающихся атомов. Осязание было бы даже тогда, если бы не было давления. Чем меньше давление, тем яснее чувство осязания.

1863 г.

3 января. [Москва.] Только нынче стала немного отпускать зубная боль. Она говорит о ревности: уважать надо, – уверенность, что это фразы, а все боишься и боишься. Эпический род мне становится один естественен. Присутствие Поливанова неприятно мне: надо его перенести наилучше. Мы одиноки в Москве, надо сделать авансы; а вдруг будет горе и хуже, а теперь так хорошо. Она целовала меня, пока я писал. Я чувствовал, что было не шутя, оглянулся – она плачет. Татьяна надоедает. Меня удивляет, как мне никого не нужно, и одиночество поражает меня, но не стесняет; а ей все кажется, что даром проходит время.

5 января. Счастье семейное поглощает меня всего, а ничего не делать нельзя. За мной стоит журнал. Часто мне приходит в голову, что счастье и все особенные черты его уходят, а никто его не знает и не будет знать, а такого не было и не будет ни у кого, и я сознаю его. «Поликушка» мне не нравится. Я читал его у Берсов.

Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу – она смотрит на меня и любит. И никто – главное, я – не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: Левочка, – и остановится, – отчего трубы в камине проведены прямо, или лошади не умирают долго и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: что нам делать? Соня, что нам делать? Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и

вдруг, в мгновение ока, у ней и мысль и слово иногда резкое: оставь, скучно; через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык, люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное и испуганное, и детское, и страстное лицо, люблю, когда...

24 марта. Я ее все больше и больше люблю. Нынче 7-й месяц, и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею потому, что не смею, не чувствую себя достойным. Я нервно раздражен и потому не вполне счастлив. Что-то мучает меня. Ревность к тому человеку, который вполне стоил бы ее. Я не стою.

28 октября 1879.

Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные – Наполеоны пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицы в людях, но все по земле. Есть люди, равномерно отращающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскрыленные, поднимающиеся слегка от тесноты и опять спускающиеся – хорошие идеалисты. Есть с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется с сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко. [...]

7 февраля – утро 11 часов. Москва. 95.

Думал за это время:

Сумасшествие это эгоизм, или наоборот: эгоизм, т. е. жизнь для себя, для одной своей личности, есть сумасшествие. (Хочется сказать, что другого сумасшествия нет, но еще не знаю, правда ли.) Человек так сотворен, что он не может жить один, так же как не могут жить одни пчелы; в него вложена потребность служения другим. Если вложена, т. е. естественна ему потребность служения, то вложена и естественна потребность быть обслуживаемым, *être servi*. Если человек лишится второй, т. е. потребности пользоваться услугами людей, он сумасшедший, паралич мозга, меланхолия; если он лишится первой потребности – служить другим, он сумасшедший всех самых разнообразных сортов сумасшествий, из которых самый характерный мания величия.

Самое большое количество сумасшедших это сумасшедшие второго рода – те, которые лишились потребности служить другим – сумасшествие эгоизма, как я это и сказал сначала. [...] Такие сумасшедшие: все составители богатств, честолюбцы гражданские и военные. [...]

Нынче 12 марта 95. Москва. Так много перечувствовано, передумано, пережито за это время, что не знаю, что писать. Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николенки, нет, в гораздо большей степени, проявление бога, привлечение к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) – не радостное, это дурное слово, но милосердное от бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие.

Соня не может так смотреть на это. Для нее боль, почти физическая – разрыва, скрывает духовную важность события. Но она поразила меня. Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери и обнажилась та божественная сущность любви, которая составляет нашу душу. Она поражала меня первые дни своей удивительной любовью: все, что только чем-нибудь нарушало любовь, что было осуждением кого-нибудь, чего-нибудь, даже недоброжелательством, все это оскорбляло, заставляло страдать ее, заставляло болезненно сжиматься обнажившийся росток любви. Но время проходит, и росток этот закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение, vent в всеобщей любви, и становится неразрешимо мучительно. Она страдает в особенности потому, что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может отделить одно от другого; не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою. Не может ясно понять, почувствовать, что одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, – различно сочетаясь – одни прежде, другие после, – как волны.

Я стараюсь помочь ей, но вижу, что до сих пор не помог ей. Но я люблю ее, и мне тяжело и хорошо быть с ней. Она еще физически слаба. [...] Таня, бедная и милая, тоже очень слаба. Все мы очень близки друг к другу, как Д. хорошо сказал: как, когда выбыл один листок, скорее и теснее сбиваются остальные. Я чувствую себя очень физически слабым, ничего не могу писать.

[...] За это время думал:

[...] 3) Смерть детей с объективной точки зрения: природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка. Но это объективное дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело божие: установление царства божия через увеличение любви – больше, чем многие, прожившие полвека и больше.

[...] 6) Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я.

[...] 8) Несколько дней после смерти Ванечки, когда во мне стала ослабевать любовь (то, что дал мне через Ванечкину жизнь и смерть бог, никогда не уничтожится), я думал, что хорошо поддерживать в себе любовь тем, чтобы во всех людях видеть детей – представлять их себе такими, какими они были [в] 7 лет. Я могу делать это. И это хорошо.

9) Радость жизни без соблазна есть предмет искусства.

10) С особенной новой силой понял, что жизнь моя и всех только служение, а не имеет цели в самой себе.

25 апреля 95. Москва. Вчера Соня уехала с приехавшей за ней Таней в Киев. Здоровье ее стало немного лучше – она поднялась, но вся разбита и нравственно все не находит точки опоры. Страшно трагично положение матери: природа вложила в ней прежде всего неудержимую похоть (то же она вложила и в мужчину, но в мужчине это не имеет тех роковых последствий – рождения детей), последствием которой являются дети, к которым вложена еще более сильная любовь и любовь телесная, так как и ношение, и рождение, и кормление, и выхаживание есть дело телесное. Женщина, хорошая женщина полагает всю свою душу на детей, отдает всю себя, усваивает душевную привычку жить только для них и ими (самый страшный соблазн тем более, что все не только одобряют, но восхваляют это); проходят года, и эти дети начинают отходить – в жизнь или смерть – первым способом медленно, оплачивая за любовь досадой, как на привешенную на шею колоду, мешающую жить им, вторым способом – смертью, мгновенно производя страшную боль и оставляя пустоту. Жить надо, а жить нечем. Нет привычки, нет даже сил для духовной жизни, потому что все силы эти затрачены на детей, которых уже нет. Вот что надо бы высказать в романе матери.

За это время начал учиться в манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это. Евгений Иванович отговаривал меня и огорчился, что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что тут есть естественное юродство, что мне все равно, что думают, да и просто безгрешно, ребячески веселит.

5 августа 95. Ясная Поляна.

[...] Был разговор о семейной жизни. Я говорил, что хорошая семейная жизнь возможна только при сознанном, воспитанном в женщинах убеждении в необходимости всегдашнего подчинения мужу, разумеется во всем, кроме вопросов души – религиозных. Я говорил, что это доказывается тем, что так было с тех пор, как мы знали жизнь людей, и тем, что семейная жизнь с детьми есть переезд на утлой лодочке, который возможен только тогда, когда едущие подчиняются одному. И таким одним признавался всегда мужчина, по той причине, что, ненося, не кормя, он может быть лучшим руководителем жены, чем жена мужа.

Но неужели женщина всегда ниже мужчины? Нисколько, как только тот и другая девственны – они равны. Но что же значит то, что теперь жены требуют не только равенства, но главенства? А только то, что семья эволюирует, и потому прежняя форма распадается. Отношения полов ищут новой формы, и старая форма разлагается. Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя много намечается...

7 сентября 1895. Ясная Поляна.

1) Смотрю на веселость, смелость, свободу, царственность молодых людей и еще больше детей. В нас, стариках, наши грехи смирили нас, застлали ту божескую силу, которая вложена в нас. Им же нельзя не быть самоуверенными и свободными, они должны быть такими, потому что носят в себе еще не загаженное жизнью божественное начало – все возможности.

2) Матерьяльный мир подлежит закону борьбы за существование, ему подлежим и мы, как матерьяльные существа. Но, кроме нашего матерьяльного существования, мы сознаем в себе еще и другое, не только независимое от закона борьбы начало, но противоположное ему начало любви. Проявление в нас этого начала есть то, что мы называем свободой воли.

[...] 5) Человек обидел тебя, ты рассердился на него и, разумеется, сдержался, не обидел его. И что ж? В сердце у тебя злоба, и ты не можешь относиться к этому человеку добро. Точно как будто дьявол, который стоит всегда у двери твоего сердца, воспользовался тем моментом, когда ты почувствовал к человеку злобу, и, открыв эту дверь, вскочил в твое сердце и сидит в нем хозяином. Вчера испытал это и должен был употребить большие

усилия: смирение, ласки к обидевшему, чтобы выкурить из сердца этого мерзавца.

6) Заметил в себе, что я стал добрее с тех пор, как мало изменяю жизнь и подчиняюсь порядкам ложной жизни. И помню, как – когда я изменял свою жизнь, как я был недобр часто. Как все в жизни делается с двух концов, так и это: двинуть сначала жизнь, во имя добра изменив ее, потом утишить свое сердце, установить в себе доброту в новом положении. Потом опять двинуть в себе доброту в новом положении. Потом опять двинуть вперед. Как шаги, перекачиваясь, идешь с ноги на ногу. Многое так – почти все нужно делать с двух концов, любовь и дела.

26 сентября.

...Пока человек не сознает себя, он не знает, живет ли он или нет, и потому не живет. Когда же он сознает себя живущим, он невольно задает себе вопрос: зачем он живет. Задав же себе этот вопрос, он ищет на него ответа, найдя же ответ, он не успокаивается до тех пор, пока не делает того, для чего он живет.

25 октября 95 г.

...Часто меня поражали уверенные, красивые, внушительные интонации людей, говоривших глупости. Теперь я знаю, что чем внушительнее, импозантнее и звуки и зрелища, тем пустее и ничтожнее.

Нынче 17. 97. Ясная Поляна. Второй день думаю с особенной ясностью вот о чем:

1) Моя жизнь – мое сознание моей личности все слабеет и слабеет, будет еще слабее и кончится маразмом и совершенным прекращением сознания личности. В это же время, совершенно одновременно и равномерно с уничтожением личности, начинает жить и все сильнее и сильнее живет то, что сделала моя жизнь, последствия моей мысли, чувства; живет в других людях, даже в животных, в мертвой материи. Так и хочется сказать, что это и будет жить после меня. [...]

2) Еще думал нынче же совсем неожиданно о прелести – именно прелести – зарождающейся любви, когда на фоне веселых, приятных, милых отношений начинает вдруг блеснуть эта звездочка. Это вроде того, как пахнувший вдруг запах липы или начинающая падать тень от месяца. Еще нет полного цвета, нет ясной тени и света, но есть радость и страх нового, обаятельного. Хорошо это, но только тогда, когда в первый и последний раз.

3) Еще думал о той иллюзии, которой все подвержены, а особенно люди, деятельность которых отражается на других, иллюзия, состоящая в том, что, привыкнув видеть действие своих

поступков на других, этим воздействием на других поверяешь верность своих поступков.

4) Еще думал: для гипнотизации нужна вера в важность того, что внушается (гипнотизация всех художественных обманов). Для веры же нужно невежество и воспитание доверия.

Сегодня поправил предисловие к Карпентеру. Получил телеграмму от Грота. Хочу отправить 10 главу. От Буланже грустное письмо.

[25 ноября.] Жив. Таня уехала. Очень мила – хороша. Я дурно сделал, что говорил с ней про свое положение. Поправляя «Искусство». Довольно хорошо написал письмо Мооду. От Гали хорошее письмо. Думал:

1) Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит. Заметить это можно, если послушать то, что говорит тот жалкий и отвратительный и тщеславный человек, которого вы с великим усилием над собой пожалели: он говорит, что он так хорош, что вы и не могли поступить иначе. То же и когда тебя любят.

2) Раки любят, чтобы их варили живыми. Это не шутка. Как часто слышишь, да и сам говорил или говоришь то же. Человек имеет свойство не видеть страданий, которые он не хочет видеть. А он не хочет видеть страданий, причиняемых им самим. Как часто я слышал про кучеров, которые дожидаются, про поваров, лакеев, мужиков в их работе – «им очень весело». Раки любят, чтоб их варили живыми.

Нынче 27 апреля 1898. Гриневка. Третий день здесь. Мне хорошо. Немного нездоров. Соня нынче утром уехала – грустная и расстроенная. Очень ей тяжело. И очень ее жалко, и не могу еще помочь. За последнее время в Москве все кончал «Carthago delenda est». Боюсь, что не кончил, и она еще придет ко мне. Хотя порядочно. Здесь ничего не работал. Бедствие голода далеко не так велико, как было в 91 году. Так много лжи во всех делах в высших классах, так все запутано ложью, что никогда нельзя просто ответить ни на какой вопрос: например, есть ли голод? Постараюсь получше раздать порученные деньги.

Вчера был разговор все о том же. Хороша ли исключительная любовь. Резюме такое: нравственный человек будет смотреть на исключительную любовь – все равно женатый или холостой – как на зло, будет бороться с ней; малонравственный человек будет считать ее добром и будет поощрять ее. Совсем безнравственный человек не понимает даже и это и смеется над ней.

Нынче 13 октября 99. Ясная Поляна. Все не вполне здоров – так и надо. Но это не мешает жить, думать и двигаться к назначенному пределу. «Воскресение» плохо двигается, послал четыре главы, кажется, нецензурные, но, по крайней мере, кажется, остановился на одном, и больше важных перемен делать не буду. Не переставая, думаю о брате Сереже, но от погоды и нездоровья не могу собраться поехать. Таня, кажется, окончательно решила выходить. Соня была в Москве и нынче едет опять. У меня нынче какой-то умственный праздник, и не нынче, а все последние дни: в «Воскресение» вдумал хорошие сцены. Об отдельности, представляющейся нам материей в пространстве и движении во времени, все чаще и чаще и яснее и яснее думаю. Еще получил брошюры Westrup'a из Америки о деньгах, которые поразили, мне уяснив все неясное в финансовых вопросах и сведя все, как и должно было быть, к насилию правительств.

Если успею – запишу. Еще важная радостная мысль, хотя и старая, но которая мне пришла как новая, и радует меня очень, а именно:

1) Главная причина семейных несчастий та, что люди воспитаны в мысли, что брак дает счастье. К браку приманивает половое влечение, принимающее вид обещания, надежды на счастье, которое поддерживает общественное мнение и литература, но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворение полового желания, страдание в виде неволи, рабства, пресыщения, отвращения, всякого рода духовных и физических пороков супруга, которые надо нести, – злоба, глупость, лживость, тщеславие, пьянство, лень, скупость, корыстолюбие, разврат – все пороки, которые нести особенно трудно не в себе, в другом, а страдать от них, как от своих, и такие же пороки физические, безобразие, нечистоплотность, вонь, раны, сумасшествие... и пр., которые еще труднее переносить не в себе. Все это, или хоть что-нибудь из этого, всегда будет, и нести приходится всякому тяжелое. То же, что должно выкупать: забота, удовлетворение, помощь, все это принимается как должное; все же недостатки, как не должное, и от них страдают тем больше, чем больше ожидалось счастья от брака.

Главная причина этих страданий та, что ожидается то, чего не бывает, а не ожидается того, что всегда бывает. И потому избавление от этих страданий только в том, чтобы не ждать радостей, а ждать дурного, готовясь переносить его. Если ждешь всего того, что описано в начале 1001 ночи, ждешь пьянства, вони, отвратительных болезней, то упрямство, неправдивость,

пьянство даже можно не то что простить, а не страдать и радоваться, что нет того, что могло бы быть, что описано в 1001 ночи, нет сумасшествия, рака и т. п. И тогда все доброе ценится.

Не в этом ли и главное средство для счастья вообще? Не оттого ли люди так часто несчастны, особенно богатые? Вместо того, чтобы сознавать себя в положении раба, который должен трудиться для себя и для других и трудиться так, как этого хочет хозяин, люди вообразят себе, что их ждут всякого рода наслаждения и что все их дело в том, чтобы пользоваться ими. Как же при этом не быть несчастным? Все тогда, и труд, и препятствия, и болезни, необходимые условия жизни, представляются неожиданными страшными бедствиями. Бедные поэтому менее бывают несчастны: они вперед знают, что им предстоит труд, борьба, препятствия, и потому ценят все, что дает им радость. Богатые же, ожидая только радостей, во всех препятствиях видят бедствия и не замечают и не ценят тех благ, которыми пользуются. Блаженны нищие, ибо они утешатся, голодные – они насытятся, и горе вам, богатые...

1886. 19 июня.

Мир живет. В мире жизнь. Жизнь – тайна для всех людей. Одни называют ее бог, другие – сила. Все равно – она тайна. Жизнь разлита во всем. Все живет вместе, и все живет – отдельно: живет человек, живет червь. (Эту отдельную жизнь наука называет организмами.) Это глупое слово – неясное. То, что они называют организмом, есть сила жизни, обособленная местом и временем и неразумно заявляющая требования жизни общей для своей обособленности. Это обособление жизни само в себе носит противоречие. Оно исключает все другое. Все другое исключает его. Оно, кроме того, исключает самого себя. Своим стремлением к жизни оно уничтожает себя: всякий шаг, всякий акт жизни есть умирание.

Противоречие это было бы неразрешимо, если бы в мире не было разума. Но разум есть в человеке. Он-то и уничтожает это противоречие. Один человек съел бы другого, если бы у него не было разума, показывающего ему, что его благо: ему лучше быть в любви с этим другим человеком и вместе с ним убивать зверей для пищи. Этот же разум показал ему, что ему лучше не убивать зверей, а быть в любви с ними и питаться их произведениями. Этот же разум покажет и дальше в этом направлении и уничтожит противоречие эгоизма. [...]

Задача человека в этой жизни отречься от всего противоречивого в самом себе, т. е. личного, эгоистического, для возможности служения разуму, для уничтожения внутреннего

противоречия жизни, в чем одном он находит полное удовлетворение, безопасность, бесстрашие и спокойствие перед смертью. Если он не исполняет этой задачи, он остается в внутреннем противоречии личной жизни и уничтожает себя, как уничтожает себя всякое противоречие. [...]

1886. 28 августа. Главное заблуждение жизни людей то, что каждому отдельно кажется, что руководитель его жизни есть стремление к наслаждениям и отвращение от страданий. И человек один, без руководства, отдается этому руководителю, – он ищет наслаждений и избегает страданий и в этом полагает цель и смысл жизни. Но человек никогда не может жить, наслаждаясь, и не может избежать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни. А если бы была, то – что за нелепость: цель – наслаждения, и их нет и не может быть. А если бы они и были, – конец жизни, смерть, всегда сопряженная с страданием. Если бы моряк решил бы, что цель его – миновать подъемы волн, – куда бы он заехал? Цель жизни вне наслаждений и страданий. Она достигается, проходя через них.

Наслаждения, страдания это дыхание жизни: вдыхание и выдыхание, пища и отдача ее. Положить свою цель в наслаждении и избегании страданий – это значит потерять путь, пересекающий их.

Цель жизни общая или духовная. Единение. Только.

Не знаю дальше, устал.

19 марта 1900. Москва. Мало, не успешно работаю, хотя здоров. В мыслях же идет работа хорошая. Читал психологию, и с большой пользой, хотя и не для той цели, для которой читаю.

Приехала Таня – довольна, счастлива. И я рад за нее и с ней. Жалею, что Сережа по взглядам чужд, от легкомыслия и самоуверенности, хотя добр, и оттого нет с ним того полного сближения, какое есть с Машей и Таней. [...]

При каждом бое часов вспоминать:

[...] 3) Что лучше ничего не делать, чем делать ничего – ложь.

4) Что присутствие всякого человека есть призыв к высшей осторожной и важной деятельности.

5) Что униженным, смиренным быть выгодно, а восхваляемым, гордым – обратное.

6) Что теперешняя минута никогда не повторится.

7) Что ничего неприятного тебе быть не может – если неприятно, то значит, ты спутался.

8) Что всякое дурное, даже пустое дело вредно тем еще, что

накатывает дорогу привычке, и всякое доброе дело – наоборот.

9) Не осуждай.

10) Обсуживая поступки других людей, вспоминай свои.

Нынче 26. Все эти дни, хотя и здоров, не писал. Начал о безверии. Переменил кое-что в драме, и к лучшему, но ничто не привлекает к работе, хотя и то и другое нравится.

Попробую записать.

1) Тем нехороша умственная работа, что, пока не влечет к ней, испытываешь праздность. А за работу физическую – сапоги, не хочется браться – и потому, что тяжело, и потому, что покажется ненатуральным. Думал, что если не можешь работать ни умственно, ни телесно, то все силы, все внимание употребляй на то, чтобы быть любовным. Это работа и высшая и всегда возможная, даже в одиночестве: думать о людях с любовью.

2) Есть люди, одаренные в сильной степени нравственным и художественным чувством, и есть люди, почти лишенные его. Первые как бы сразу берут и знают интеграл. А вторые делают сложные вычисления, не приводящие их к окончательным выводам. Точно как будто первые проделали все вычисления где-то прежде, а теперь пользуются результатами.

[25 июня.] Вчера 24 июня 93. Ясная Поляна. Думал:

1) Представил себе людей, для полноты мужчину и женщину – мужа [и] жену, брата [и] сестру, отца [и] дочь, мать [и] сына – богатого класса, которые живо поняли грех жизни роскошной и праздной среди нищеты и подавленности трудом народа и ушли из города, отдали кому-нибудь, так или иначе избавились от своего излишка, оставили себе в бумагах, скажем, 150 р. в год на двоих, даже ничего не оставили, а зарабатывают это каким-либо мастерством – положим, рисованием на фарфоре, переводы хороших книг, и живут в деревне, в середине русской деревни, наняв или купив себе избу и своими руками обрабатывая свой огород, сад, ходят за пчелами, и вместе с тем подавая помощь сельчанам медицинскую, насколько они знают, и образовательную – учат детей, пишут письма, прошения и т. п. Казалось бы, чего лучше такой жизни. Но жизнь эта будет адом и сделается адом, если люди эти не будут лицемерить, лгать, если они будут искренни.

Ведь если люди эти отказались от тех выгод и радостей, украшений жизни, которые им давали и город и деньги, то сделали они это только потому, что они признают людей братьями, равными перед отцом – неравными по способностям, достоинствам, если хотите, но равными в своих правах на жизнь и

все то, что она может дать им. Если возможно сомнение о равенстве людей, когда мы их рассматриваем взрослыми, с отдельным прошедшим каждого, то сомнения этого уже не может быть, когда мы видим детей. Почему этот ребенок будет иметь все заботы, всю помощь знания для своего физического и умственного развития, а этот прелестный ребенок, с теми же и еще лучшими задатками, сделается рахитиком, вырожденным, полукарликом от недостатка молока и останется безграмотным, диким, связанным суевериями человеком, только грубой рабочей силой? Ведь если люди эти уехали из города и поселились жить так, как они живут в деревне, то только потому, что они не на словах, но на деле верят в братство людей и хотят если не осуществить, то осуществлять его в своей жизни. И эта-то попытка осуществления должна, если только они искренни, должна привести их в ужасное, безвыходное положение. С своими с детства приобретенными привычками порядка, удобства, главное, чистоты, они, переехав в деревню и наняв или купив избу, очистили ее от насекомых, может быть, даже сами оклеили ее бумажками, привезли остатки мебели, не роскошной, а нужной: железную кровать, шкаф, письменный столик. И вот они живут. Сначала народ дичится их: ожидает, как и от всех богатых, насилием ограждения своих преимуществ, и потому не приступает к ним с просьбами и требованиями. Но вот понемногу настроение новых жителей уясняется: сами они вызываются служить безвозмездно, и самые смелые, назойливые люди из народа опытом узнают, что новые люди эти не отказываются и можно пожить около них. И вот начинаются заявления всякого рода требований, которых становится все больше и больше. Начинается как бы рассыпание и разравнивание возвышающегося над общим уровнем зерна до тех пор, пока не будет возвышения. Начинаются не только выпрашивания, но и естественные требования поделиться тем, что есть лишнего против других. И не только требования, но сами поселившиеся в деревне люди, войдя в близкое общение с народом, чувствуют неизбежную необходимость отдавать свои излишки там, где есть крайняя нужда. Но мало того, что они чувствуют необходимость отдавать свой излишек до тех пор, пока у них останется то, что должно быть у всех, то есть у среднего – определения этого среднего, того, что должно быть у всех, нет никакого, – и они не могут остановиться, потому что всегда вокруг них есть вопиющая нужда, а у них излишек против этой нужды.

Казалось бы, нужно удержать себе стакан молока, но у Матрены двое детей, грудной, не находящий молока в груди матери, и двухлетний, начинающий сохнуть. Казалось, подушки и

одеяло можно бы удержать, чтобы заснуть в привычных условиях после трудового дня, но больной лежит на вшивом кафтане и зябнет ночью, покрываясь дерюжкой. Казалось, можно бы удержать чай, пищу, но ее пришлось отдать странникам, ослабевшим и старым. Казалось, можно бы удержать хоть чистоту в доме. Но пришли нищие мальчики, и их оставили ночевать, и они напустили вшей, которых они только что с трудом вычесали, придя от больного.

Нельзя остановиться, и где остановиться? Только те, которые не знают совсем того чувства сознания братства людей, вследствие которого эти люди приехали в деревню, или которые так привыкли лгать, что и не замечают разницу лжи от истины, скажут, что есть предел, на котором можно и должно остановиться. В том-то и дело, что предела этого нет, что то чувство, во имя которого делается это дело, таково, что предела ему нет, что если есть ему предел, то это значит только то, что этого чувства совсем не было, а было одно лицемерие.

Продолжаю себе представлять этих людей. Они целый день работали, вернулись домой. Кровати у них уже нет, подушки нет, они спят на соломе, которую достали, и вот, поев хлеба, легли спать. Осень, идет дождь с снегом. К ним стучатся. Могут ли не отпереть? Входит человек, мокрый и в жару. Что делать? Пустить ли его на сухую солому? Сухой больше нет. И вот приходится или прогнать больного и положить его мокрого на полу, или отдать свою солому и самому, потому что надо где-нибудь спать, лечь с ним. Но и этого мало: приходит человек, которого вы знаете за пьяницу и развратника, которому вы несколько раз помогали и который всякий раз пропивал то, что вы ему давали, приходит теперь с дрожащими челюстями и просит дать ему 3 р., которые он украл и пропил и которые, если он не отдаст, его посадят в тюрьму. Вы говорите, что у вас только и есть 4 р. и они необходимы вам завтра для уплаты. Тогда пришедший говорит: «Да, это, значит, все только разговоры, а когда дело до дела, то вы такие же, как и все: пускай погибает тот, кого мы на словах считали братом, только бы мы были целы».

Как тут поступить? Что сделать? Положить лихорадочного больного на сыром полу, а самим лечь на сухое, еще хуже не заснешь. Положить его на свою постель и лечь с ним: заразиться и вшами и тифом. Дать просящему последние 3 рубля – значит остаться завтра без хлеба. Не дать, значит, как он и говорит: отречься от того, во имя чего живешь. Если можно остановиться здесь, то почему не остановиться было раньше. Почему было помогать людям? Зачем отдавать состояние, уходить из города? Где предел? Если есть предел тому делу, которое ты делаешь, то

все дело не имеет смысла, или имеет только один ужасный смысл лицемерия.

Как тут быть? Что делать? Не остановиться, значит, погубить свою жизнь, завшиветь, зачахнуть, умереть, и без пользы как будто. Остановиться, значит, отречься от всего того, во имя чего делаешь то, что делаешь, во имя чего делал что-либо доброе. И отречься нельзя, потому что ведь это не выдуманно мною или Христом, что мы братья и должны служить друг другу: ведь это так. И нельзя вырвать этого сознания из сердца человека, когда оно вошло в него. Как же быть? Нет ли еще какого выхода? И вот представим себе, что люди эти, испугавшись того положения, в которое их ставила их необходимость жертвы, приводящей к неизбежной смерти, решили, что их положение происходит оттого, что средства, с которыми они пришли на помощь народу, слишком малы и что этого не было бы и они принесли бы большую пользу, если бы у них было много денег.

И вот представим себе, что люди эти нашли источники помощи, собрали большие, огромные суммы денег и стали помогать. И не прошло бы недели, как случилось бы то же самое. Очень скоро все средства, как велики бы они ни были, разлились бы в углубления, которые образовала бедность, и положение осталось бы то же.

Но, может быть, есть еще третий выход. И есть люди, которые говорят, что он есть и состоит в том, чтобы содействовать просвещению людей, и тогда уничтожится это неравенство. Но выход этот слишком очевидно лицемерный. Нельзя просвещать население, которое всякую минуту находится на краю гибели от голода, а главное, неискренность людей, проповедующих этот выход, видна уже потому, что не может человек, стремящийся к установлению равенства хотя бы через науку, поддерживать это неравенство всей своей жизнью. Но есть еще четвертый выход, тот, чтобы содействовать уничтожению тех причин, которые производят неравенство, содействовать уничтожению насилия, производящему его. И выход этот не может не прийти в голову тем искренним людям, которые будут пытаться в жизни своей осуществлять свое сознание братства людей.

«Если мы не можем жить здесь, среди этих людей, в деревне, – должны будут сказать себе те люди, которых я представляю себе, – если мы поставлены в то ужасное положение, что мы неизбежно должны зачахнуть, завшиветь и умереть медленной смертью или отказаться от единственной нравственной основы нашей жизни, то это происходит оттого, что у одних скопление богатств, у других нищета; неравенство же это происходит от насилия, и потому, так как основа всего – это

насилие, то надо бороться против него». Только уничтожение этого насилия и вытекающего из него рабства может сделать возможным такое служение людям, при котором не было бы неизбежности жертвы всей своей жизнью.

Но как уничтожить это насилие? Где оно? Оно в солдате, в полицейском, в старосте, в замке, которым запирают мою дверь. Как же мне бороться с ним? Где, в чем? И вот тут-то есть люди, все живущие насилием, и борющиеся с насилием, и насилием же борющиеся с ним. Но для человека искреннего это невозможно. Насилием бороться с насилием, значит, ставить новое насилие на место старого. Помогать просвещению, основанному на насилии, значит, делать то же самое. Собрать деньги, приобретенные насилием, и употреблять их на помощь людям, обделенным насилием, значит, насилием лечить раны, произведенные насилием. Даже в том случае, который я представлял себе: не пустить больного к себе и на свою постель и не дать 3 рубля, потому что я силою могу удержать их, есть тоже насилие. И потому борьба с насилием не исключает необходимости в нашем обществе человеку, желающему жить по-братски, отдать свою жизнь, завшиветь и умереть, но при этом борясь с насилием: борясь проповедью ненасилия, обличением насилия и, главное, примером ненасилия и жертвы.

Как ни страшно и ни трудно положение человека, живущего христианской жизнью среди жизни насилия, ему нет другого выхода, как борьба и жертва – жертва до конца. Надо видеть ту пучину, которая разделяет завшивевших, заморенных миллионы людей с перекормленными, в кружевах, другими людьми, и, чтобы заполнить ее, нужны жертвы, а не то лицемерие, которым мы теперь стараемся скрыть от себя глубину этой пропасти.

Человек может не найти в себе сил броситься в эту пропасть, но миновать ее нельзя ни одному человеку, ищущему жизни. Можно не идти в нее, но так и знать и говорить, а не обманывать себя, не лицемерить.

Да и нет, совсем не так страшна эта пучина. И если страшна, то страшнее те ужасы, которые предстоят нам на пути мирской жизни.

30 августа 1900. Ясная Поляна. 72 года. Все эти дни ничего не могу работать. Нет охоты. Думается кое-что хорошо – слава богу и благодарение – добро. [...]

Любовь – это стремление к благу, которое до тех пор, пока мы признаем смысл в своей отдельной жизни, признается за стремление к своему личному благу, но есть сама сущность

жизни, которая стремится к благу всего. Разум – это уяснение средств достижения блага, – пока жизнь в личности; достижения блага личности, когда жизнь во всеобщем благе, в достижении этого всеобщего блага.

Как-то спросил себя: верю ли я, точно ли верю в то, что смысл жизни в исполнении воли бога, воля же в увеличении любви (согласия) в себе и в мире и что этим увеличением, соединением в одно любимого я готовлю себе будущую жизнь? И невольно ответил, что не верю так в этой определенной форме. Во что же я верю? спросил я. И искренне ответил, что верю в то, что надо быть добрым: смиряться, прощать, любить. В это верю всем существом. [...]

[28 октября]. Нынче 27 октября 1900. Кочеты. Я у Тани уже десять дней и не писал ни дневника, ничего, хотя здоровье хорошо. Нынче не 27, а 28.

[...] Думал:

1) Жизнь есть постоянное творчество, то есть образование новых высших форм. Когда это образование на наш взгляд останавливается или даже идет назад, то есть разрушаются существующие формы, то это значит только то, что образуется новая, невидимая нам форма. Мы видим то, что вне нас, но не видим того, что в нас, только чувствуем это (если не потеряли сознания и не признаем видимого внешнего за всю нашу жизнь). Гусеница видит свое засыхание, но не видит бабочки, которая из нее вылетит.

2) Память уничтожает время: сводит во единое то, что происходит как будто врозь. [...]

19 января 1901. Москва. Все это время был нездоров и слаб. В выдавшиеся хорошие дни написал длинное письмо к Серебренникову в Нижний. Душевное состояние довольно хорошо, если бы только поменьше празднословия.

За это время записано:

1) Люди живут своими мыслями, чужими мыслями, своими чувствами, чужими чувствами (то есть понимать чужие чувства, руководствоваться ими). Самый лучший человек тот, который живет преимущественно своими мыслями и чужими чувствами, самый худший сорт человека – который живет чужими мыслями и своими чувствами. Из различных сочетаний этих четырех основ, мотивов деятельности – все различие людей.

Есть люди, не имеющие почти никаких, ни своих, ни чужих мыслей, ни своих чувств и живущие только чужими чувствами; это самоотверженные дурачки, святые. Есть люди, живущие только своими чувствами, – это звери. Есть люди, живущие

только своими мыслями, – это мудрецы, пророки; есть – живущие только чужими мыслями, – это ученые глупцы. Из различных перестановок по силе этих свойств – вся сложная музыка характеров.

[...] 5) Мужчина должен подняться до целомудрия женщины, а не женщина, как это происходит теперь, спуститься до распущенности мужчины.

[...] 8) Помочь нужде других можно только жертвой. Жертва всегда тиха, легка и радостна. Люди же желают помогать, не жертвуя – через других. И для этого всегда нужен шум и усилия, и даже страдания. И люди, пытающиеся помогать так, всегда и хвастаются и жалуются. [...]

16 июля. Ясная Поляна. 1901. Больше месяца не писал. Был тяжело болен с 27 июня, хотя и перед этим недели две было нехорошо. Болезнь была сплошной духовный праздник: и усиленная духовность, и спокойствие при приближении к смерти, и выражения любви со всех сторон...

Кончил «Единственное средство». Не особенно хорошо, слабо. Записываю то, что давно записано.

[...] 3) Для того чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с голгофы, запечатлеть истину страданием, еще лучше – смертью.

[...] 5) Страшная непобедимая сила в мирских делах – жестокость, непризнание обязательности своих обещаний и слов и наглая ложь.

6) Китайцы говорят: мудрость в том, чтобы знать, что ты знаешь то, что знаешь, – и знаешь, что не знаешь, чего не знаешь; я прибавляю к этому: еще большая мудрость знать, что нужно знать и чего можно не знать и что знать прежде и что после.

[...] 9) Женщин узнают только мужья. Только муж видит их за кулисами. От этого Лессинг и говорил, что все мужья говорят: одна была дурная женщина, и та моя жена. Перед другими же они так искусно притворяются, что никто не видит их, какие они в действительности, в особенности пока они молоды.

10) Главная способность женщин это – угадыванье, кому какая роль нравится, и играть ту роль, которая нравится.

11) Материнство – их настоящая жизнь и великое дело, а они воображают, что материнство мешает им жить, то есть притворяться, по вкусу избранных мужчин. [...]

11 декабрь 1902.

1) Мы знаем, что без физических усилий мы ничего не достигнем. Почему же думать, что в области духовной можно

достигнуть чего-либо без усилия.

2) Любовь настоящая есть только любовь к ближнему, ровная, одинаковая для всех. Одинаково нужно заставить себя любить тех, которых мало любишь или ненавидишь, и перестать слишком любить тех, которых слишком любишь. Одно не дошло, другое перешло линию. От того и другого все страдания мира. [...]

26 мая 1903. Ясная Поляна. Здоровье недурно. Записал кое-что в книжечке. Здесь запишу следующее: 1) Здешняя жизнь не иллюзия и не вся жизнь, а одно из проявлений, вечных проявлений вечной жизни.

Нынче 24 ноября 1903. Ясная Поляна. Все копаюсь с предисловиями и к Шекспиру и к Гаррисону. Почти кончил. Здоровье хорошо, но умственно не боек. Сейчас думал, кажется мне, что очень важное, а именно:

1) Мы знаем в себе две жизни: жизнь духовную, познаваемую нами внутренним сознанием, и жизнь телесную, познаваемую нами внешним наблюдением.

Обыкновенно люди (к которым я принадлежу), признающие основой жизни жизнь духовную, отрицают реальность, нужность, важность изучения жизни телесной, очевидно, не могущего привести ни к каким окончательным результатам. Точно так же и люди, признающие только жизнь телесную, отрицают совершенно жизнь духовную и всякие основанные на ней выводы, отрицают, как они говорят, метафизику. Мне же теперь совершенно ясно, что оба не правы, и оба знания: матерьялистическое и метафизическое – имеют свое великое значение, только бы не желать делать несоответствующие выводы из того или другого знания. Из матерьялистического знания, основанного на наблюдении внешних явлений, можно выводить научные данные, то есть обобщения явлений, но нельзя выводить никаких руководств для жизни людей, как это часто пытались делать матерьялисты, – дарвинисты, например. Из метафизических знаний, основанных на внутреннем сознании, можно и должно выводить законы жизни человеческой, – как? зачем? жить: то самое, что делают все религиозные учения, но нельзя выводить, как это пытались многие, законы явлений и обобщения их. Каждый из этих двух родов знания имеет свое назначение и свое поле деятельности. [...]

О любви

1. Любить в себе можно только Того, Кто один во всех. Любить же Того, Кто один во всех, значит любить Бога.

2. Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Мф. гл. 22, ст. 36–40

3. Живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

4. Как будто бы Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтобы они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.

5. Людям кажется, что они заботой о себе живы, а живы они одною любовью. Если бы не было любви в людях, не вырос бы ни один ребенок, не остался бы жив ни один человек.

6. Люди живы любовью; любовь к себе – начало смерти, любовь к Богу и людям – начало жизни.

7. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог – в нем. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Братья, будем любить друг друга, ибо любящий рожден от Бога и знает Бога, потому что Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог – в нем.

1-е Послание Иоанна, из гл. 4

8. Если человек не может простить брата, он не любит его. Истинная любовь бесконечна, и нет количества тех оскорблений,

которые она не простила бы, если она истинная любовь.

9. Любить того, кто нам приятен, не значит любить. Истинная любовь только та, когда в человеке любишь того же Бога, какой в тебе. Этой любовью любишь не только своих родных, не только тех, которые любят тебя, но любишь неприятных, злых людей, ненавидящих тебя. Чтобы любить таких людей, надо помнить, что тот, с кем имеешь дело, любит себя так же, как и ты себя, и что в нем тот же Бог, какой и в тебе. Если помнишь это, то и поймешь, как тебе надо отнестись к нему. И если поймешь, то полюбишь его, а если полюбишь так, то такая любовь даст тебе больше радости, чем любовь к любящим тебя.

10. Любовь не есть основное начало нашей жизни. Любовь – последствие, а не причина. Причина любви – сознание в себе Божеского, духовного начала. Это сознание требует любви, производит любовь.

11. Любовь к людям дает истинное, неотъемлемое внутреннее благо, соединяя человека с другими людьми и Богом.

12. Никто не может помешать духовному развитию человека, кроме его самого. Ни физическая слабость, ни умственная неспособность не могут быть препятствием к развитию духовной природы, ибо развитие духовной природы – только в увеличении любви, а ничто не может препятствовать этому увеличению.

Люси Малори

13. Разумный человек любит не потому, что ему выгодно, а потому, что он в самой любви находит благо.

14. Не сожалейте о прошлом, какая польза в сожалении? Ложь говорит: сокрушайся; правда говорит: только люби. Удали от себя все воспоминания. Не говори о прошедшем; живи в свете любви, и пусть проходит все остальное.

Персидская мудрость

15. У китайского мудреца спросили: «В чем наука?» Он сказал: «В том, чтобы знать людей». У него спросили: «В чем добродетель?» Он сказал: «В том, чтобы любить людей».

16. Человек не может достигнуть счастья, потому что чем выше его стремления к мирскому счастью, тем менее они осуществимы. Исполнение долга тоже не может дать счастья.

Исполнение это дает мир, а не счастье.

17. Только божественная, святая любовь и слияние с Богом дают истинное благо, потому что если жертва стала радостью, постоянной, растущей, ненарушимой радостью, то душа обеспечена непрерывающим благом.

Амиель

18. Постарайся полюбить того, кого ты не любил, осуждал, кто оскорбил тебя. И если тебе удастся это сделать, то ты испытаешь совершенно новое и удивительное чувство радости. Ты сразу увидишь в этом человеке того же Бога, который живет в тебе. И как свет ярче светит после темноты, так и в тебе, когда ты освободишься от нелюбви, сильнее и радостнее разгорится свет любви божеской.

19. Я сознаю в себе силу, которая со временем преобразит мир. Она не толкает и не давит, но я чувствую, как она понемногу и неудержимо влечет меня. И я вижу, что меня что-то притягивает, так же как я бессознательно притягиваю других. Я увлекаю их, и они увлекают меня, и мы сознаем стремление к новому соединению.

И я спросил ту силу, которая была во мне: кто ты?

И она ответила: я – любовь, владыка неба и хочу быть владыкой земли.

Я – могущественнейшая из всех сил небесных, и я пришла, чтобы образовать общество будущего.

Кросби

20. Как мать, рискуя своей жизнью, воспитывает и оберегает свое детище, свое единственное детище, так пусть каждый человек воспитывает и оберегает в себе дружелюбное чувство ко всему живому.

Мемма-сунта

21. Бесстрашие, спокойствие, радость, которые дают любовь, так велики, что блага мирские, даваемые любовью (любовь людей), незаметны для человека, познавшего внутреннее благо любви.

22. Только тот знает истинную любовь, кто любит людей неприятных, враждебных. Проверка истинной любви – любовь к

врагам.

23. Любить человека, любящего нас, приятного нам можно человеческой любовью; но только врага можно любить божескою. Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, даже смерть, не может разрушить ее. Она есть сущность души.

24. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если займы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? ибо и грешники дают займы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

Лк. гл. 6, ст. 33–36

25. Любите врагов ваших – и не будет у вас врага.

Учение 12 апостолов

26. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (Лев. 19, 17–18). А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинаящих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца вашего небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Мф. гл. 5, ст. 43–45

27. Если Бог равняет всех людей, не делает разницы между злыми и добрыми – а Он знает сердца людей, – как можем мы, не зная того, что делается в сердцах людей, по одной видимости разделять их и любить одних и не любить других.

28. Страстность предпочтения одних людей другим, называемая неверно любовью, есть только дичок, на котором может быть привита истинная любовь и дать плоды ее. Но как дичок не есть яблоня и не дает плодов или дает плоды горькие вместо сладких, так и пристрастие не есть любовь и не дает добра людям или производит еще большее зло.

29. Росток любви, при появлении своем нежный, не терпящий прикосновения, могущественен только при своем разросе. Все, что будут делать над ним люди, только хуже для него. Ему нужно одно – чтобы ничто не скрывало от него солнца разума, которое одно возвращает.

30. Совершеннейший из людей тот, кто любит всех ближних своих и делает им добро без разбора, хороши ли они или дурны.

Магомет

31. Противопологай кротость развращенности: острый меч не разрезает мягкий шелк. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона.

Саади

32. Всякий раз, когда кто-нибудь обидит тебя и ты почувствуешь зло к человеку, постарайся вспомнить о том, что все люди одинаковые сыны Божии и что, как бы ни был тебе неприятен человек, ты не должен переставать любить его, как брата, такого же, как и ты, сына Божия.

33. Бог не есть любовь. Любовь есть только одно из проявлений Бога в человеке.

34. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки.

1-е Послание Иоанна, 5, гл. ст. 2–3

35. Один из книжников, слыша прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей?

Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, израиль! Господь Бог наш есть господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей: вот первая заповедь.

Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет.

Мрк. гл. 12, ст. 28–31

36. Эпикурейство приводит к отчаянию. Философия долга менее безотраднa. Но спасение заключается в согласии долга и счастья, в соединении личной воли с волей божественной, в вере, что эта высшая воля управляема любовью.

Амиель

37. Человеколюбие включает справедливость.

Вовенарг

38. Мудрец сказал: мое учение просто, и смысл его легко постигнуть. Оно все состоит в том, чтобы любить ближнего, как самого себя.

Китайская мудрость

39. Цель жизни есть проникновение всех ее явлений любовью, есть медленное, постепенное претворение злой жизни в добрую, – есть творчество истинной жизни (потому что истинная жизнь есть только жизнь любовная), есть рождение истинной, т. е. любовной, жизни.

40. Доброта есть нечто самобытное и действительное. Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни. Сознание этого закона законов пробуждает в душе чувство, которое мы называем религиозным и которое составляет наше высшее счастье.

Эмерсон

41. Для того чтобы быть счастливым, надо одно – любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать.

42. Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего в самом раннем детстве, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного, чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и еще более хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо, самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда всем было хорошо и радостно. Это-то и есть и это одно есть та любовь, в которой жизнь человека.

43. Если есть в тебе силы деятельности, то пусть

деятельность твоя будет любовна; если нет сил и ты слаб, то слабость твоя пусть будет любовная.

44. Добродетель человеколюбия недалеко от нас: стоит только пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе.

45. Очисти свою душу от всего засоряющего ее, и останется одна любовь. И любовь эта, отыскивая для себя предмет, не удовольствуется тобою, а изберет предметом все живое и То, что живит живое, – Бога.

46. Чувство, разрешающее все противоречия жизни человеческой и дающее наибольшее благо человеку, знают все люди. Чувство это – любовь.

47. Как победить дурное расположение духа? Прежде всего смирением: когда знаешь свою слабость, зачем раздражаться, когда другие указывают на нее? Это нелюбезно с их стороны, но они правы. Потом рассуждением: в конце концов останешься все-таки тем, чем был, и если слишком уважал себя, то приходится только изменить о себе мнение; неучитивость ближнего оставляет нас такими, какими мы и были. Главное же – прощением: есть только одно средство не ненавидеть тех, которые делают нам зло и обиды, – это делать им добро, победить свой гнев добротой; их не переменишь этой победой над своими чувствами, но обуздаешь себя.

Амиель

48. Какая цена глазам, в которых нет доброты? Доброта есть истинное богатство. Собственностью владеют и добрые и злые. Стой на истинном пути, соображай и будь добр; хотя бы ты и изучил правила всех религиозных учений, только доброта даст тебе благо. Тот, в душе которого живет доброта, никогда не вступит в область мрака и печали. Никакое зло не постигнет того, кто добр и служит всем существам.

Индийский Курал

49. Любовь уничтожает смерть и превращает ее в пустой призрак; она же обращает жизнь из бессмыслицы в нечто осмысленное и из несчастья делает счастье.

50. Ничем нельзя вынуть из раны отравленного жала, как только бальзамом молчаливого и предупредительного

милосердия. Зачем позволять себе раздражаться на человеческую злобу, на неблагодарность, на зависть, даже на коварство? Перекорам, жалобам, наказаниям никогда не будет конца. Самое простое – стереть все. Обиды, упреки, вспышки возмущают душу. Надо иметь средство исцеления от этих зол. Оно очищает все в вещественном мире; любовь – в мире духовном.

Амиель

51. Если вы сознательно не добры ко всем, то будете часто бессознательно жестоки ко многим.

Джон Рёскин

52. Любовь выводит человека из себя, из своей личности, и потому, если личность страдает, любовь избавляет от страданий.

53. Чем меньше любви, тем больше человек подвержен мучительности страдания; чем больше любви, тем меньше мучительности страдания; жизнь же вполне разумная, вся деятельность которой проявляется только в любви, исключает возможность всякого страдания. Мучительность страдания – это только та боль, которую испытывают люди при попытках разрывания цепи любви, которая соединяет жизнь человеческую с жизнью мира.

54. Когда тебе тяжело, когда ты боишься людей и себя, когда ты запутался в рассуждениях и делах, скажи себе: буду любить тех, с кем меня сводит жизнь, и старайся делать это, и увидишь, как все пройдет, облегчится, распутается, и тебе нечего будет ни желать, ни бояться.

55. Любовь – это проявление божественной сущности, для которой нет времени, и потому любовь проявляется только в настоящем, сейчас, во всякую минуту настоящего.

56. Любить вообще значит делать доброе. Так мы все понимаем и не можем иначе понимать любовь.

57. И любовь не есть только слово, но есть деятельность, направленная на благо других.

58. Если человек решает, что ему лучше воздержаться от требований настоящей, самой малой любви, во имя другого, будущего проявления большей любви, то он обманывает или себя, или других, и никого не любит, кроме себя одного.

59. Любви в будущем не бывает; любовь есть только

деятельность в настоящем. Человек же, не проявляющий любви в настоящем, не имеет любви.

60. Не будем медлить, чтобы быть справедливыми, сострадательными, внимательными к тем, кого мы любим; не будем ждать, когда они или мы будем поражены болезнью или угрожаемы смертью. Жизнь коротка, и не может быть слишком много времени, чтобы радовать сердца наших спутников в этом коротком переезде. Поспешим же быть добрыми.

Амиель

61. Скрывайтесь от несчастного, которому помогаете: пусть он наслаждается благодеянием, не зная имени своего благодетеля.

Из «Благочестивых мыслей»

62. Помогайте бедному, не стараясь узнавать причин его нищеты, чтобы не открыть того, что может ослабить ваше участие.

Из «Благочестивых мыслей»

63. Будь добр, хотя бы мир и осуждал тебя. Это лучше, чем когда тебя хвалят и ты продолжаешь быть дурным.

Лоди

64. Учение Евангелия содержит простую веру, а именно веру в Бога и почитание Его или, что то же самое, послушание Его закону. Весь же закон Его только в одном: любить ближнего. Любить ближнего, как самого себя, значит подчиняться закону и быть счастливым в исполнении закона и, наоборот, презирать и ненавидеть своего ближнего – это значит впасть в возмущение и упорство.

Спиноза

65. Существует два рода любви.

По одному, я просто люблю людей, не зная любви к единому во всех людях духовному началу.

По другому, я во всех людях только одно и люблю – это единое во всех людях духовное начало.

Разница между тою и другою любовью в том, что в первом случае я буду любить людей только до тех пор, пока они будут

приятны мне.

Во втором же случае, когда я буду любить в людях их сущность, единую во всех нас, я буду любить людей даже тогда, когда они будут неприятны мне.

В первом случае мы будем то и дело менять предметы своей любви, менять жен, друзей, мужей и т. д., так как люди, которых мы любим, постоянно изменяются, изменяются и наши чувства к ним.

Во втором случае, по мере собственного нашего нравственного роста, мы все больше и больше будем любить то божеское духовное начало, которое мы все яснее и яснее будем познавать во всех людях.

Федор Страхов

66. Мучительно тяжело бывает вспоминать о том, как ты мог сделать и не сделал дело милосердия, как ты непоправимо навсегда лишил помощи того, кто ждал ее от тебя, а себя радостного сознания исполнения должного.

67. Любовь дает не только духовную внутреннюю радость тому, кто испытывает ее, но она же и главное условие радостной мирской жизни.

68. Истинная любовь – не есть любовь к одному исключительному лицу, а душевное состояние готовности любви ко всем – есть то состояние, в котором одним мы сознаем божественное начало нашей души.

69. Не думай, что твое доброе расположение к людям – это подарок, который ты делаешь своим ближним: ты делаешь этот подарок самому себе.

70. Не старайтесь привлекать к себе любовь других: любите и будете любимы.

Из «Благочестивых мыслей»

71. Обращать горечь жизненного опыта в благодушие, неблагодарность – в благодеяние, оскорбления – в прощение, – вот в чем святая алхимия высоких душ. И это превращение должно сделаться столь обычным, столь легким, чтобы оно представлялось людям естественным и чтобы нам не нужно было за это одобрение людей.

Амиель

72. Любить – значит жить жизнью того, кого любишь.

73. Святой человек не имеет своих чувств. Чувства народа становятся его чувствами. Доброе он встречает с добротой, с добротой же встречает и злое. Верующих он встречает с верою, с такой же верою встречает и неверующих.

Святой человек, живя в мире, озабочен своими отношениями к людям. Он чувствует за всех людей, и все люди обращают к нему свои уши и глаза.

Лао-Тсе

74. Любовь открывает нам благодетельную тайну: жить в согласии с самим собой и со всеми людьми.

Из «Благочестивых мыслей»

75. Без любви никакое дело не приносит пользы, и всякое дело, внушенное любовью, как бы оно мало и ничтожно ни казалось, приносит обильные плоды.

Из «Благочестивых мыслей»

76. Религия есть высшая форма любви.

Паркер

77. Чем больше человек проявляет любви, тем больше люди любят его. А чем больше его любят, тем ему легче любить других; оттого-то любовь бесконечна.

Любите друг друга

(Обращение к кружку молодежи)

Мне хотелось бы на прощание (в мои годы всякое свидание с людьми есть прощание) вкратце сказать вам, как, по моему понятию, надо жить людям для того, чтобы жизнь наша не была злом и горем, какою она теперь кажется большинству людей, а была бы тем, чего желает Бог и чего мы все желаем, т. е. благом и радостью, какою она и должна быть.

Все дело в том, как понимает человек свою жизнь. Если понимать свою жизнь так, что жизнь эта дана мне в моем теле, Ивану, Петру, Марье и что все дело жизни в том, чтобы добыть как можно больше всяких радостей, удовольствий, счастья этому своему «я», Ивану, Петру, Марье, то жизнь всегда и для всех будет несчастна и озлобленна.

Несчастливая и озлобленная жизнь будет потому, что всего, чего хочется для себя одному человеку, того же самого хочется и всякому другому. А так как каждому хочется всякого для себя добра как можно больше и добро это одно и то же для всех таких людей, то добра этого для всех никогда не хватает. А потому если люди живут каждый для себя, то не миновать им отнимать друг у друга, бороться, злиться друг на друга, и от этого жизнь их не бывает счастливою. Если же временами люди и добудут себе того, чего им хочется, то им всегда мало, и они стараются добыть все больше и больше, и кроме того, еще и боятся, что у них отнимут то, что они добыли, и завидуют тем, которые добыли то, чего у них нет.

Так что, если люди понимают свою жизнь каждый в своем теле, то жизнь таких людей не может не быть несчастною. Такая она и есть теперь для всех таких людей. А такую, т. е. несчастною, жизнь не должна быть. Жизнь дана нам на благо, и так мы все и понимаем жизнь. Для того же, чтобы жизнь была такою, людям надо понимать, что жизнь наша настоящая никак не в нашем теле, а в том духе, который живет в нашем теле, и что благо наше не в том, чтобы угождать и делать то, чего хочет тело, а в том, чтобы делать то, чего хочет этот дух один и тот же, живущий в нас так же, как и во всех людях. Хочет же этот дух блага себе, духу. А так как дух этот во всех людях один и тот же, то и хочет он блага всем людям. Желать же блага всем людям значит любить людей. Любить же людей никто и ничто помешать не может; а чем больше человек любит, тем жизнь его становится свободнее и радостнее.

Так что выходит, что угодить телу человек, сколько бы он ни старался, никогда не в силах, потому что то, что нужно телу, не всегда можно добыть, а если добывать, то надо бороться с другими; угодить же душе человек всегда может, потому что душе нужна только любовь, а для любви не нужно ни с кем бороться; не только не нужно бороться с другими, а напротив, чем больше любишь, тем больше сближаешься с другими людьми. Так что любви ничто помешать не может, и всякий человек что больше любит, то все больше и больше не только сам делается счастливым и радостным, но и делает счастливыми и радостными и других людей.

Так вот это-то, милые братья, мне хотелось сказать вам на прощание, сказать то, чему учили вас все святые и мудрые люди, и Христос, и все мудрецы мира: а именно тому, что жизнь наша бывает несчастна от нас самих, что та сила, которая послала нас в жизнь и которую мы называем Богом, послала нас не затем, чтобы мы мучились, а затем, чтобы имели то самое благо, какого мы все желаем, и что не получаем мы это предназначенное нам благо только тогда, когда понимаем жизнь не так, как должно, и делаем не то, что должно.

А то мы жалуемся на жизнь, что жизнь наша плохо устроена, а не думаем того, что не жизнь наша плохо устроена, а что делаем мы не то, что нужно. А это все равно, как если бы пьяница стал жаловаться на то, что спился он оттого, что много завелось трактиров и кабаков, тогда как завелось много трактиров и кабаков только оттого, что много развелось таких же, как он, пьяниц.

Жизнь дана людям на благо, только бы они пользовались ею, как должно ею пользоваться. Только бы жили люди не завистью друг к другу, а любовью, и жизнь была бы непрерывающим благом для всех.

Теперь вот со всех сторон говорят только одно: жизнь, говорят, наша дурная и несчастная оттого, что она дурно устроена, – давай переделаем дурное устройство на хорошее, и жизнь наша будет хорошая.

Милые братья, не верьте этому, не верьте тому, что от такого или иного устройства жизнь ваша может быть хуже или лучше. Не говорю уже о том, что все те люди, которые заботятся об устройстве лучшей жизни, все не согласны между собою, все спорят промежду собою: одни предлагают одно устройство, считая его самым лучшим, другие же говорят, что это устройство самое дурное, а что хорошо только то, которое они предлагают. А третьи забраковывают и это и предлагают свое самое лучшее, и т. д. Но если бы даже и было такое, самое лучшее устройство,

если даже согласиться с тем, что придумано самое лучшее устройство, то как же сделать, чтобы люди жили по этому устройству, как удержат это хорошее устройство, когда люди привыкли и любят жить дурно? А то мы теперь привыкли и любим жить дурно, за что ни возьмемся, все гадим, а говорим, что хорошо станем жить, когда будет устройство хорошее. Да как же быть хорошему устройству, когда люди плохие?

Так что если и есть такое самое лучшее устройство жизни, то, для того чтобы добиться его, надо людям становиться лучше. Вам же обещают хорошую жизнь после того, как вы, кроме вашей теперешней дурной жизни, будете еще бороться с людьми, насиловать людей, даже убивать их, чтобы ввести это хорошее устройство, т. е. вам обещают хорошую жизнь после того, как вы сами сделаетесь еще хуже, чем теперь.

Не верьте, не верьте этому, милые братья. Для того чтобы жизнь была хорошая, есть только одно средство: самим людям быть лучше. А будут люди лучше, и сама собою устроится та жизнь, какая должна быть среди хороших людей.

Спасение ваше и всех людей никак не в греховном, насильническом устройстве жизни, а в устройстве своей души. Только этим, таким устройством души, добудет каждый человек и тебе и другим людям самое большое благо и самое лучшее устройство жизни, какого могут только желать люди. Истинное благо, то, какого ищет каждое сердце человеческое, дано нам не в каком-либо будущем устройстве жизни, поддерживаемом насилием, а сейчас всем нам везде, во всякую минуту жизни и даже смерти, достигаемое любовью.

Благо это дано нам из века, но люди не понимали его и не брали его. Теперь же пришло время, когда нам нельзя уже не принять его, нельзя не принять первое, потому что безобразия и страдания нашей жизни довели нас до того, что жизнь наша становится непереносимо мучительной. Второе то, что все более и более раскрывающееся нам истинное учение Христа стало теперь так ясно, что нам уже для нашего спасения нельзя не признать и не принять его. Спасение наше теперь в одном: в признании того, что истинная жизнь наша не в теле нашем, а в том духе божьем, который живет в нас, и что поэтому все те усилия, которые мы клали прежде на улучшение нашей телесной, как отдельной, так и общественной, жизни, мы можем и должны класть на единственное нужное и важное для человека дело, на то, чтобы каждому в самом себе воспитывать и утверждать любовь не только к любящим нас, а, как говорил Христос, ко всем людям, и в особенности к чуждым нам людям, к ненавидящим нас.

Жизнь наша теперь так далека от этого, что в первую минуту

такое перенесение всех своих усилий, вместо заботы о мирских делах, на одно невидное, непривычное нам дело – на любовь ко всем людям кажется невозможным.

Но это только так кажется: любовь ко всем людям, даже к ненавидящим нас, гораздо больше свойственна душе человека, чем борьба с ближними и ненависть к ним. Перемена понимания смысла жизни не только не невозможна в наше время, но, напротив, невозможно продолжение той озлобленной всех против всех жизни, которую мы ведем теперь. Перемена эта не только не невозможна, но, напротив, только она одна может вывести людей из тех бедствий, от которых они страдают, и потому перемена эта неизбежно рано или поздно должна совершиться.

Милые братья, зачем, за что вы мучаете себя? Только помните, что вам предназначено величайшее благо, и возьмите его. Все – в вас самих. Это так легко, так просто и так радостно.

Но, может быть, люди страдающие, бедные, угнетенные скажут: «Да, это, может быть, хорошо для богатых и властвующих; легко богатым и властвующим любить врагов, когда враги эти во власти их. Но это трудно для нас, страждущих и угнетенных». Но это неправда. Милые братья, изменить свое понимание жизни одинаково нужно и властвующим, богатым, и подчиненным, бедным. И подчиненным и бедным это легче, чем богатым. Подчиненным и бедным нужно только, не изменяя своего положения, не только не делать дел, противных любви, но не принимать участия в этих делах, как дела насилия, и все это враждебное любви устройство падет само; властвующим же гораздо труднее принять и исполнить учение любви. Для того чтобы им исполнить это учение, им надо отказаться от обладающих ими соблазнов власти, богатства; и это труднее им; бедным же и подчиненным надо только не делать новых насилий и, главное, не принимать участия в старом.

Как растет человек, так растет и человечество. Сознание любви росло, растет в нем и доросло в наше время до того, что мы не можем не видеть, что оно должно спасти нас и стать основой нашей жизни. Ведь то, что теперь делается, – это последние судороги умирающей насильнической, злобной, нелюбовной жизни.

Ведь теперь уже не может быть не ясно, что все эти борьбы, вся эта ненависть, все эти насильственные устройства, все это бессмысленные, ни к чему, кроме как к все увеличивающимся бедствиям, не ведущие обманы. И не может не быть ясно, что единственное, самое простое и легкое спасение от всего этого есть сознание основного начала жизни всех людей – любви – этого начала, которое неизбежно, без всякого усилия заменяет

величайшее зло величайшим благом.

Есть предание о том, что апостол Иоанн, достигши глубокой старости, был весь поглощен одним чувством и все одними и теми же словами выражал его, говоря только одно: «Дети, любите друг друга». Так выразилась старость, т. е. дожившего до известного предела жизни жизнь одного человека. Так точно должна выразиться жизнь человечества, дожившая до известного предела.

Ведь это так просто, так ясно: ты живешь, т. е. родился, растешь, мужаешь, стареешься и вот-вот умрешь. Неужели цель твоей жизни может быть в тебе? – наверное нет. Что же такое, – спрашивает себя тогда человек, – что я такое? И ответ один: я что-то такое любящее – в первое время кажется, что любящее только себя, но стоит немного пожить, немного подумать, чтобы увидеть, что любить себя, проходящего через жизнь, умирающего, нельзя, незачем. Чувствуешь, что я должен любить и люблю себя. Но, любя себя, я не могу не чувствовать, что предмет моей любви недостоин ее; но не любить я не могу. В любви есть жизнь. Как же тут быть? Любить других, близких, друзей, любящих? Сначала кажется, что это удовлетворяет потребности любви, но все эти люди, во-первых, несовершенны, во-вторых, изменяются, главное, умирают. Что же любить? И ответ один: любить всех, любить начало любви, любить любовь, любить Бога. Любить не для того, кого любишь, не для себя, а для любви. Стоит понять это, и сразу уничтожается все зло человеческой жизни и становится явным и радостным смысл ее.

«Да, это хорошо бы было. Чего же лучше? – скажут люди. – Хорошо бы было любить и жить для любви, если бы все так жили. А то я буду жить для любви, отдавать все другому, а другие будут жить для себя, своего тела; что же будет со мною, да еще и не со мною одним, а с семьей, с теми, кого я люблю, не могу не любить? Разговоры о любви давно говорятся, да никто им не следует. Да и нельзя следовать. Отдать свою жизнь любви можно бы было только тогда, когда бы все люди сразу каким-то чудом переменили жизнь мирскую, телесную на жизнь духовную, божескую. Но чуда этого нет, а потому все это слова, а не дело». Так говорят люди, успокаивая себя в своей ложной, привычной жизни. Они говорят так, но в глубине души они знают, что они не правы. Они знают, что рассуждения эти неверны. Они неверны потому, что только для выгоды мирской, телесной жизни нужно, чтобы люди все сразу изменили свою жизнь; но не то для духовной жизни: любви, любви к Богу и людям. Любовь дает благо человеку не в своих последствиях, а в самой любви, дает ему благо совершенно независимо от того, как поступают другие

люди и что вообще совершается во внешнем мире. Любовь дает благо тем, что человек, любя, соединяется с Богом и не только ничего не желает для себя, но желает отдать все, что имеет, и свою жизнь другим, и в этом отдавании себя Богу находит благо. И потому все то, что делают другие люди, все то, что может совершиться в мире, не может иметь влияния на его поступки. Любить – значит отдаться Богу, делать то, чего хочет Бог, а Бог есть любовь, т. е. хочет блага всем и потому не может хотеть того, чтобы человек погибал, исполняя Его закон.

Любящий человек, и один среди нелюбящих, не погибает. А если и погибает среди людей, как Христос погиб на кресте, то и смерть его и радостная для него и значительная для других, а не отчаянная и ничтожная, каковы бывают смерти мирских людей.

Так что отговорка о том, что я не отдаюсь любви потому, что не все сделают то же, и останусь один, и неправильная и нехорошая. Это – то же, как если бы человек, которому нужно работать для того, чтобы кормить себя и детей, не брался бы за работу потому, что другие не работают.

Да, милые братья, положим нашу жизнь в усилении в себе любви и предоставим миру идти, как он хочет, т. е. как определено ему свыше. Поступим так, и поверьте мне, что мы получим наибольшее благо себе, сделаем все то добро людям, какое мы только можем сделать.

Ведь это так просто, так легко и так радостно. Только любите каждый человек, любите не одних любящих, а всех людей, особенно ненавидящих, как учил Христос, и жизнь – непрерывающаяся радость, и все вопросы, которые заблудшие люди так тщетно пытаются разрешить насильем, не только разрешаются, а перестают существовать. «И мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, если любим братьев. Не любящий брата не имеет жизни вечной. Только любящий брата своего имеет жизнь вечную, пребывающую в нем».

Еще одно слово, милые братья.

Ни про одно дело нельзя узнать, хорошо ли оно или дурно, если не испытал его на деле в жизни. Если земледельцу говорят, что хорошо сеять рожь рядами, или пчеловоду, что хорошо ульи делать рамочные, то разумный земледелец и пчеловод, чтобы верно узнать, правда ли, что ему говорят, сделает опыт и следует или не следует тому, что ему предлагали, смотря по тому, насколько он находит подтверждения в опыте.

То же и во всем деле жизни. Для того чтобы верно узнать, насколько применимы в жизни поучения о любви, испытайте их.

Попробуйте: возьмите на себя на известный срок следовать во всем требованиям любви: жить так, чтобы во всех делах прежде

всего помнить, чтобы со всяким человеком, с вором, пьяницей, с грубым начальником или подчиненным, не отступить от любви, т. е., имея с ним дело, помнить о том, что нужно ему, а не себе. И, прожив так положенный срок, спросите себя: тяжело ли вам было и испортили ли вы себе или улучшили жизнь, и, смотря по тому, что даст вам опыт, решайте уже, правда ли то, что исполнение любви дает в жизни благо, или это только одни слова. Испытайте это, постарайтесь вместо того, чтобы отплатить злом за зло обидчику, вместо того, чтобы осудить за глаза человека, живущего дурно, и т. п., – вместо этого постарайтесь отвечать добром на зло, ничего не сказать дурного о человеке, не обойтись грубо даже со скотиной, с собакой, а с добротой и лаской, проживите так день, два или больше (для опыта) и сравните ваше за это время душевное состояние с тем, какое бывало прежде. Испытайте это, и вы увидите, как вместо хмурого, сердитого и тяжелого состояния вы будете светлы, веселы, радостны. А живите так и другую и третью неделю, и вы увидите, как душевная радость ваша все будет расти и расти, и дела ваши не только не будут разлагиваться, а будут все только больше и больше спориться.

Только испытайте это, милые братья, и вы увидите, что учение о любви – не слова, а дело, самое, самое близкое, всем понятное и нужное дело.

notes

Примечания

Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной (*фр.*).

Стерна («Сентиментальное путешествие») и Тёпфера («Библиотека моего дяди») (*англ.* и *фр.*).

Мой нежнейший друг, я только и думаю, что о счастье быть около тебя (*фр.*).

Мой добрый друг (*фр.*).

Время для меня тянется долго без тебя, хотя, сказать по правде, мы мало наслаждаемся твоим обществом, когда ты здесь (*фр.*).

Преданная тебе Мария (*фр.*).

Мой маленький Вениамин (*фр.*).

Мне хорошо с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дую с одной, говорю о чувствах, пересуживаю легкомысленный свет с другой, любима до безумия обеими, пользуюсь доверием каждой, я их мирю, когда они ссорятся, так как не было дружбы более бранчивой и более смешной на вид, чем их дружба. Постоянные неудовольствия, плач, утешения, брань и затем порывы дружбы, восторженной и чувствительной. Так я вижу, как бы в зеркале, дружбу, которая одушевляла и смущала меня в продолжение нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно, прочное и действительное счастье зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда все бывает украшено всемогуществом воображения? А иногда я усмехаюсь их ребячеству (фр.).

Добрый вечер (фр.).

Здравствуйте (фр.).

Благодарю вас (*фр.*).

Истории крестовых походов и пап (*фр.*).

Туанетта, о, она была очаровательна (*фр.*).

16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение – выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива (*фр.*).

Мои дорогие друзья (*фр.*).

Кто на нем сидит, тот счастлив, и счастливец этот – я (*нем.*).

Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий
(фр.).

Если бы юность знала, если бы старость могла (*фр.*).

Юноша у ручья (*нем.*).

Ободрить его (*фр.*)

«Как вы полагаете?»

«Надо подождать» (нем.).

Подите сюда. Голубое небо!

Где?

Подите сюда! (нем.)

Я думаю, правда, Александрин, дождя не будет больше.
Больше не будет! (*фр.*)

Держитесь, дети (нем.).

Воздушных замков (*фр.*).